|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Людмила Якимова](http://magazines.russ.ru/authors/y/yakimova/)** **Чехов и Мамин-Сибиряк: точки пересечения**

|  |  |
| --- | --- |
| 93) |  |

 |

Людмила  ЯКИМОВА

  ЧЕХОВ И МАМИН-СИБИРЯК: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ[\*](http://magazines.russ.ru/sib/2010/7/ia16.html%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22)

 К выявлению творческой и духовной близости Мамина-Сибиряка и Чехова подталкивает выразительная значимость внешних, отчетливо видимых поводов. И то, что они были близкими по годам современниками, творческая активность и успешность которых вызревала в одни и те же 80—90-е годы. И то, что оба были выходцами из народной среды и принадлежали к породе людей, выстроивших свою судьбу самостоятельно, силою личной воли, осознанно избравших творчество, труд, работу как путь личностного самостоянья, как служение общему делу: «Без всякой посторонней поддержки я пробил дорогу себе сам», [1] — так говорил о себе Мамин-Сибиряк, но много похожих признаний можно услышать и от Чехова. Оба были провинциалами, сделавшими имя в столицах — Москве и Петербурге, но всегда сохранявшими корневую связь с родиной — Чехов с южной степью, Мамин-Сибиряк — с горами и лесами отчего Урала. Это чувство он передал и своему во многом автобиографическому герою романа «Черты из жизни Пепко»: «А провинция, брат — все. Помнишь былину об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила из родной земли прет. Так то» [2].

Великое чувство к малой родине и у того, и у другого писателя было нерасторжимо с глубокой привязанностью к родной семье — родителям, братьям, сестрам, «своему углу», свидетельством чего стал необыкновенно богатый их эпистолярий, ставший неотделимой частью творческого наследия обоих и служащий источником неоценимых сведений как о их личной жизни, так и об эпохе в целом.

Можно было бы и далее продолжить разговор о сходных «чертах из жизни» Мамина-Сибиряка и Чехова, отметив, например, равнозначность их профессионального выбора и склонность к медицине: один четыре года проучился в Медицинско-хирургической академии в Петербурге, а другой закончил медицинский факультет Московского университета — тем более, что такого рода сопоставительный аспект не был чужд нарративной структуре прозы обоих писателей, что особенно отчетливо проявилось в романе Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко». И, разумеется, невозможно обойти вниманием такую важную особенность творческого поведения обоих писателей как несклонность к занятиям политикой, отторжение от непосредственно практической связи с каким-либо модным веянием общественной мысли, неверие в разного рода теории радикального переустройства мира и скородействующие рецепты исправления человека. И того, и другого постоянно пытались, как выражался Бахтин, «пристегнуть» к какому-нибудь движению, течению, «борьбе», а убедившись в тщете подобных усилий, упрекали в общественной индифферентности, «равнодушии к направлению», «безыдейности», что естественным образом оборачивалось обвинением в натурализме и бытописательстве. Тем более что пороком этим грешили многие их современники, как, например, Боборыкин и Потапенко, которые были редкостно плодовиты.

Будучи свидетелями перманентной смены идеологических вех, они не искали своего положительного героя ни в среде унылых опрощенцев, ни в лагере «обагряющих руки в крови» радикалов, что не означало безыдейности, т.е. равнодушия к идее. Не было склонности к подмене идеи идеологией — в этом вся разница. И именно то, что расценивалось до поры до времени как слабость их творческой позиции, в действительности оборачивалось их силой. Именно независимость от догм «партийности» и «направления» обеспечивала стереоскопичность их мировидения, ту особую емкость художественных образов и мерцание глубинных смыслов, в которых заложено свойство их произведений каждому времени открываться новыми сторонами, и что, в конечном счете, способно объяснить тайну их долговечной читаемости. Главная же причина нежелания связывать себя жесткими узами идеологического служения крылась в характере их антропологии, глубоко отличной и от народнической, и от марксистской, в принципиально ином видении человека — не в узко социальном пространстве «среды», условий, обстоятельств, а в аспекте его неизбывной натуры, природы, феномена.

Вращаясь в одних и тех же литературных кругах, имея дело с общими издателями, они были знакомы лично, входили в вольные и невольные контакты, и есть свидетельства того, что при встречах вели беседы на интересные для обоих темы, в частности тему эволюции поколений хозяев жизни, духовной и физической деградации наследников богатых отцов, невольно лишавших своих детей воли к самостоянью, необходимости выявлять свой человеческий потенциал, искать свой путь в жизни. Именно об этом пишет Мамин-Сибиряк в письме матери от 3 марта 1894 года: «Я видел много богатых наследников, как сын Рубинштейна, сын Щедрина, сын Достоевского (завел скаковую конюшню), сын второй Демидова — все это глубоко несчастные люди, придавленные родительскими капиталами. Мы разговорились с Чеховым на эту тему… Чехов заявил категорически, что если бы у него были дети, он не оставил бы им буквально ни гроша, потому что не желает их губить. Это глубоко верно…» [3] — заключает Мамин-Сибиряк.

Поиски ответа на вопрос, почему эта тема так глубоко волновала писателей, в сложной связности разнообразных компонентов текста переходя из одного произведения в другое — в романах «Приваловские миллионы», «Хлеб» и др. у Мамина-Сибиряка, в повестях «Цветы запоздалые», «Три года», рассказах «Случай из практики», «По делам службы» и т.д. у Чехова, — логично приводят в сферу чистой феноменологии, к неослабевающему вниманию обоих писателей к проблеме человека как такового, его естества, натуры, феномена, к тому, что в нем вечно, неизбывно, первозданно человеческое, «просто человеческое».

Привалов и Дидя Стабровская из романа «Хлеб», единственная дочь владелицы ткацкой «фабрики пяти корпусов» госпожи Ляликовой из рассказа «Случай из практики» и наследник торгового дела в Москве Алексей Лаптев из повести «Три года» не испытывают радости от свалившегося на них богатства, не умеют и не знают, как распорядиться своими миллионами, и работающие на их предприятиях люди не предстают жертвами их жестокости или непомерной жажды наживы; несчастливы, обременены «хроническими страданиями, коренная причина которых была непонятна и неизлечима» [4] и те, и другие, при этом хозяева даже в большей степени, чем их рабочие ощущают над собой власть непонятных, каких-то надличностных сил. Герою «Случая из практики» доктору Королеву эти невидимо-непознанные силы видятся в образе «чудовища с багровыми глазами, самого дьявола, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех, и других» [5]. Герою рассказа «По делам службы» (1899), написанного на другой год после «Случая из практики», эти силы представляются в виде какой-то связи, «невидимой, но значительной и необходимой», которая существует «между всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем» [6].

Прошлая критика неизменно сосредоточивала внимание на конфликтах социального неравенства, контрастах нищеты и богатства, проблемах хищничества хозяев жизни, и пройти мимо них, разумеется, было невозможно, как невозможно было бы отрицать их неотменимую реальность. Но отличительная особенность определенного ряда писателей, таких как Гоголь, Достоевский, Чехов в XIX, Набоков, Булгаков, Леонов в ХХ веке, «имеющих дар проникновения в жизнь», проявилась в способности сместить привычные акценты видения мира и представить своих героев, не минуя, разумеется, изображения социума, в пространстве чистой экзистенции, существовании в Бытии, когда в отношении к миру проявляется весь человек, человек целиком, во всей полноте качеств, и природой данных, и социальной средой обусловленных, во всей немереной духовно-душевной глубине своего подполья и неоглядной широте внутренних интенций, жизненных устремлений и воплощений, верой в лучшее будущее и неверием в идеологические рецепты, жаждой гармонии и неприятием искусственного общественного упорядочивания и т.д.

Если сегодня чеховедение сделало на этом пути несомненные успехи, то в отношении осмысления творчества Мамина-Сибиряка острота проблемы сохраняется в значительной степени и по сию пору. Последняя вспышка креативной энергии последовала в связи со 150-летием его рождения, отмеченным в 2002 году. [7] И нельзя не ощутить какой-то необъяснимой несправедливости в том, что изучение творчества писателя, безусловно общероссийского, общенационального масштаба замкнулось в рамках регионального литературоведения, предстало, так сказать, плодом незаконной приватизации местной филологией.

Творческое наследие Мамина-Сибиряка огромно. Знаменательно, как бы подводящее итог всего творческого пути, его признание: «Все, что я умел и мог сказать, мною сказано в моих сочинениях, которых, если собрать все вместе, наберется до 100 томов, а издано около 36» [8].Сам писатель не придал при этом никакого значения богатству своего эпистолярия, насчитывающего тысячи (!) писем родным, знакомым, коллегам по перу и имеющего ценность достоверного источника информации об эпохе. Подавляющая масса его произведений появлялась не на Урале или даже в Сибири, а в московских и петербургских журналах и являлась предметом реакции столичной критики. На материале «самобытного» Урала он обращался к проблемам национального масштаба, к тем самым темам, сюжетам, типажам, которыми жила вся русская литература, и сегодня уже нельзя не видеть, что уровень их художественного воплощения выводил его из того широкого круга писателей, тоже очень плодовитых и для истории литературы немалозначимых, к которому принадлежали Потапенко, Боборыкин, Олигер, Шелер-Михайлов и др.

Однако процесс заточения Мамина-Сибиряка в понятийных рамках «литературы Урала», с особой силой активизировавшийся в советскую пору, обрел форму устойчивого фактора, имеющего свои долгосрочные последствия. И дело, разумеется, не в том, что изучение творчества крупномасштабного писателя осуществляется исключительно силами филологов, живущих в регионе, а в том, что их исследовательский продукт не выходит на общероссийский культурный уровень, не попадает в Большую прессу. Работ о Мамине-Сибиряке нельзя прочесть на страницах «НЛО», «Вопросов литературы», «Русской литературы» или «Нового мира», его имя выпадает из широкого литературоведческого оборота. Даже юбилей его отмечают исключительно местными силами.

Самому известному исследователю творчества Мамина-Сибиряка И.А. Дергачеву (Д.Н. Мамин-Сибиряк в литературном процессе 1870—1890-х гг. — Новосибирск, 2005) реализм писателя в свете методологических ориентиров 70—80-х годов представляется «одной из существенных модификаций социального (социологического) реализма. В основе дифференциации социологического и психологического течений, — разъясняет И.А. Дергачев свою позицию, — лежат две концепции личности там, где личность отождествляется с его самосознанием, где социализация ее рассматривается на уровне психологии и сознания в целом, там формируются принципы психологического реализма. Социологический реализм рассматривает в качестве центра личности ее поведение, систему ответных реакций на действительность, а социализация лица соответственно связывается с тем же поведением и лишь как следствие — с формирующимся на этой основе сознанием». [9]

Современному исследователю творчество Мамина-Сибиряка видится в неразрывном сплетении социальных, психологических, культурных связей, определяющих характер человека, исходя из его целокупного бытия в мире, а не из совокупности лишь «ответных реакций на действительность». На материале одной из ранних повестей Мамина-Сибиряка «Бойцы», прослеживая эволюционный ход авторской мысли путем сравнения черновых вариантов и опубликованного текста, Б.В. Кондаков сосредоточивает внимание на стремлении автора уйти от избыточности социологических акцентов в изображении характера сибирского человека, перенося эти акценты на природно-ландшафтный, исторический, культурный контекст его жизни, на воспроизведение особенностей его быта, верований, ритуалов, труда, искусства. «Но вот что интересно: — размышляет Б.В. Кондаков, — нищета, скудость пищи и ветхость одежды, которые акцентировались в… плане 1897 года, уже не заметны в более позднем описании — гораздо больше внимания уделяется изображению индивидуальных характеров собравшихся на пристани людей (дяди Силантия, молодого парня Митрия), рассказ о трудностях крестьянской жизни. Помимо совершенно верных и точных размышлений о жизни их слова содержат глубокую веру, которая поддерживает их в самые трудные моменты жизни:

“Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

— А Бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия <…> от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить (IV, 19)”». [10]

Представлению о герое как «системе ответных реакций на действительность» явственно противостоит убеждение в том, что «художественный мир произведения Д. Мамина-Сибиряка оказывается не столько миром «действительности», сколько миром «культуры» [11], и что для писателя характерно «стремление поставить в центр проблематики произведений взаимодействие мира и человека (вместо, — как уточняет автор статьи в скобках, — традиционного для литературы предшествующего периода противостояния героя и действительности, среды)» [12]. Переоценка сложившихся взглядов на творчество Мамина-Сибиряка предстает сегодня как тенденция, совпадающая с общими исканиями литературоведческой мысли, что находит подтверждение и в других работах о нем, как писателе, исследующем «в первую очередь столкновение человека с собственной внутренней стихией» [13].

Думается, однако, что суть проблемы в личном выборе писателя, в образе его художественного мышления, характере творческого поведения, ибо любое время не лишает художника возможности представить героя либо перед лицом Бытия, либо жертвой среды. И дело не в том, что когда-либо утратят в литературе значимость картины социальных противоречий, исследование отношений бедных и богатых, хозяев и работников, вообще имущественных и экономических факторов жизни, вопрос в другом — что является для писателя человекообазующим началом, из какого онтологического вещества образуется и формируется личность его героя, достаточно ли с его точки зрения изменить среду обитания человека, чтобы изменилась его природа, натура, естество.

Насколько значима и как обострилась в последнее время эта проблема в мамино-сибиряковедении, можно судить по работам авторов, которые в полемике с устоявшимися взглядами настаивают на равноценной художественной значимости с 80-ми не только 90-х, но и 900-х годов творческой жизни писателя и исследовании ее во всем объеме написанных им произведений, включая на равных с широко известными романами «Приваловские миллионы» (1883), «Горное гнездо» (1884), «Дикое счастье» (1884), «Три конца» (1890), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895) и, что называется, «второй ряд романов Мамина-Сибиряка» [14], куда относятся «Бурный поток» (1886), «Именинник» (1888), «Весенние грозы» (1893), «Без названия» (1893), «Ранние всходы» (1896), «Общий любимец публики» (1898), «Падающие звезды» (1899).

В последних работах о писателе нельзя не уловить особой полемической настойчивости, с какой в аспекте утверждения художественной значимости всего Мамина-Сибиряка отстаивается тезис о социальной насыщенности его произведений независимо от времени их создания. «Д.Н. Мамин-Сибиряк конца 90-х XIX—начала ХХ века, читаем в статье Л. Слобожаниновой, — писатель социального направления — не нуждается ни в оговорках, ни в извинениях. Он был таким и не может быть другим. Круг его персонажей необычайно широк: сибирский золотопромышленник и знаток золотых песков; “темный капиталист” и столичный делец, который “всю жизнь всех обманывал”, а сам оказался обманутым более ловким дельцом из провинции; актеры, скульпторы, завзятые театралы, карточные игроки; обедневшие дворяне и купцы из бывших крепостных; чиновники, земские доктора, барыни и “полубарыни”; золоторотцы и т.п. По богатству социальных типов Мамин в литературе на рубеже веков близок разве лишь Чехову». [15]

Акцент на феноменологической составляющей характера героев в произведениях и того, и другого писателя выявлял несостоятельность изолированного от живой жизни сознания, непродуктивность увлечения разного рода скорыми рецептами оздоровления общества и исправления человечества. Показательна в этом смысле перекличка тем, сюжетных коллизий, персонажей, а главное — внутренняя соотнесенность смысловой атмосферы произведений обоих писателей об идейных исканиях интеллигенции в широком русле общественной жизни от 60-х до 90-х годов XIX века. У Мамина-Сибиряка этой проблеме посвящены многие романы от «Приваловских миллионов» до «Без названия», но здесь речь пойдет о равновеликих в жанровом отношении произведениях, как его рассказы «В худых душах» (1882), «Переводчица на приисках» (1883), «Все мы хлеб едим» (1882) и чеховские повести «Дом с мезонином» (1896), «Моя жизнь» (1896), «Новая дача» (1899) и др.

Повести Чехова предметом литературоведческого переосмысления являются постоянно, что же касается рассказов Мамина-Сибиряка, то в отличие от некоторых его романов, в осмыслении которых подвижка исследовательской мысли более ощутима, они все еще продолжают пребывать в рецепции того времени, когда «передовые идеи» и связь с «этапами» освободительного движения представали главными критериями оценки художественной значимости писателя. Исследователи, словно не замечали его глубокую укорененность в православной культуре, неотступную преданность сущностным началам национальной жизни, неизменную верность вечным ценностям человеческого бытия — трудолюбию, прочности семейных уз, святости отношений отцов и детей. Пройдя жизненную школу, характерную для многих представителей разночинной интеллигенции, — обучение в духовном училище, духовной семинарии, он при всем пиетете к именам Белинского, Чернышевского, Добролюбова не пополнил ряды отступников и нигилистов, не поддался веяниям атеизма. Его письма домой, сначала, пока был жив отец, обоим родителям, а затем матери наглядным образом убеждают, как на протяжении всей жизни внимателен он был к соблюдению требований православного календаря, ритуалов христианской веры и какой важной стороной его духовно-душевного мира стала та часть культуры, которой он был обязан воспитанию в доме отца-священника.

История бытования рассказа «В худых душах» особенно убедительна. Критики и комментаторы публикаций этого рассказа выделяли, прежде всего, ноту авторского сочувствия жертвам революционного подполья, акцентируя внимание на привлекательности образа их жизни, способности служить примером для подражания современной молодежи. С этой целью в комментариях к рассказу в собрании сочинений в 6-ти томах (М., 1980) приводится отзыв В.Д. Бонч-Бруевича: «…я в первый раз читал рассказ, в котором описывалась жизнь “политических” и меня сразу потянуло к этому миру. Мне захотелось знать, почему эти люди скрываются, почему их арестовывают, за что ссылают…» [16]

Однако такое прочтение не отражает глубины связности всех компонентов текста. Фабульной основой рассказа является история распада большой поповской семьи, испытавшей сокрушительное воздействие общественной перестройки 60-х годов, столичные волны которой докатились и до зауральской глубинки — богатого, красиво раскинувшегося по берегам реки села Шерамы. Дети попа Якова и попадьи Руфины, четверо их сыновей и дочь легко поддались соблазну скорых перемен, в полной мере испытали искушение новыми веяниями: тогда, по рассказу матушки Руфины, «Митрея из семинарии исключили», а «Прошка из училища вылетел», увлеченный же опрощенчеством Никашка уже доктором явился в Шераму «в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже деревенскую простоту». Но более других своевольной властью наступившего времени оказались захвачены «младшенькие» — сын Кинтильян и дочь Аня. Студенческая жизнь в Петербурге вывела их на дорогу политического подполья, заставила порвать с укладом родного дома и разделить превратности судьбы профессиональных революционеров: полицейской слежки, арестов, ссылки, побегов и т.д., о чем из разных деталей, намеков и проговорок повествования становится понятно читателю. По истечению некоторого времени, перебродив опасными идеями, старшие сыновья, что называется, остепенились, вернулись в русло привычной жизни — Митрий Яковлевич в попы подался, Никаша земским врачом стал, а Прошка и вовсе в урядники определился, и теперь даже сам «ловит кого-то», и только жизнь «младшеньких» оказалась необратимо сломленной и погубленной. А о том, что «у попа-то Якова ноне не ладно в дому…», едущий в Шераму повествователь узнает еще по дороге от своего возницы Евмена.

У истории одной поповской семьи несколько ракурсов видения. Представленный устами возницы глас народный восполняется затем наблюдательным взглядом самого повествователя. Как человек, давно не бывавший в доме старых друзей, он схватывает и примечает многое, в том числе в углу горницы столик с книгами, на корешке одной из которых прочитывает: «Das Kapital, von Marx». «Это Кантильяновы книги», — предупреждает вопрос попадья Руфина. Удалось гостю «покалякать» наедине и с о. Яковом. Но композицинным стержнем повествования, предстающим как текст в тексте, является ночной рассказ матушки Руфины о неисчислимых злоключениях семьи, своего рода печальная исповедь матери, выдержанная в манере сказового остранения. Не понимая реальной сути происходящих событий, она воспринимает их как неизбывную напасть, непоправимое несчастье, беду, горе. Полнясь святой материнской тоской, вспоминает о том, как в жалком, посиневшем от холода бродяжке не узнала вернувшегося из ссылки родного сына, подав ему через окошко милостыню, и как прятала в бане и по разным углам беглую Аню, которую на ее глазах увели: «таскали-таскали ее по городам… а потом Аня-то стала задумываться, да и рехнулась…»

При всей неприхотливости матушкина рассказа композиционно он далеко не прост: в ее переложении нашел в нем место и вещий сон о. Якова, и вставная притча о курице-кохинхинке, бесстрашно бросившейся спасать своего цыпленка из когтей ястреба и заклевавшей его до смерти. Этот, как бы попутно рассказанный матушкой Руфиной «случай» («нет, постой, надо тебе еще один случай тут рассказать»), высвечивает естественно-природный, извечно свойственный всему живому на земле, смысл переживаний простой деревенской попадьи, восходящих к первоисходным началам человеческой натуры, а потому так естественно приходят на память повествователя «слова Писания»: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног… Рахиль бо плачущися о чадах своих и не хотяше утешитися, яко не суть».

Авторское сознание архетипической, библейской укорененности мотива горя и страданий родителей, теряющих своих детей, а в контексте рассказа «В чужих душах» утрачивающих с ними духовный и душевный контакт, проливает особый свет на воссозданную писателем картину. На первый план в ней выходит драма разрушения родового гнезда, любовно свитого безустанным трудом отцов, утрата привычного лада семейных отношений («у попа-то Якова ноне не ладно в доме»), как бы уводя на второй план жизненные перипетии представителей молодого поколения поповской семьи, но именно в свете горькой доли родителей, обреченных на прозябание «в худых душах»[\*](http://magazines.russ.ru/sib/2010/7/ia16.html%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22)\* и открывается подлинный смысл «дела» детей, избранной ими дороги, вообще всей «жизни политических». Именно в этом свете извечности проступает и авторское отношение к своим героям, когда и читателю представляется возможность видеть не внешнюю благостность порывов к подвигу, а внутреннюю суровость реалий. Мамину-Сибиряку часто, как и Чехову, пытались приписать сочувствие к «уходящим в революцию» и возведение таких героев в статус положительных, но не всегда героев их произведений можно было считать героями самих писателей. К рассказу «В худых душах» это относится в той же степени, что и к рассказу «Невеста». Стратегический план писателя ощущается уже по его началу благодаря настойчивому повторению того благоприятнейшего впечатления, которое оставляет в душах спутников встреча с Шерамой, как селом красивым, «естевым», то есть зажиточным, ни в какой перестройке хорошо налаженной жизни не нуждающимся: «Важное село, — говорил, любуясь, Евмен, когда наша телега начала осторожно спускаться по крутому косогору прямо к реке. — А вон дом попа Якова… Естевый поп».

О том, что дело детей оторвано от понимания отечественных интересов, ни в малой степени ни продиктовано внутренними потребностями социально-экономической жизни страны, что и сами они стали невольниками чуждого их народу учения, свидетельствует такая деталь, как книга на непонятном языке в доме провинциального священника — «Das Kapital, von Marx». Ложность исповедуемой теории оказывается губительной для самих носителей ее: бесперспективность идеи, служению которой посвящена жизнь, пагубно отзывается на их личной судьбе, ломая Россию, они ломают себя. Подвергая страданиям близких, они и сами предстают как физически и нравственно опустошенные люди: сходит с ума Аня; некогда «румяный, брови черные, глаза как у отца, да светленько так поглядывают», Кинтильян превращается в человека с «бледным, изнеможенным лицом», дни которого сочтены. Авторское сочувствие горю родителей выше сочувствия неудачам детей. Предав веру отцов, покусившись на дорогой им жизненный «лад» и принеся непоправимое горе («горе, да еще какое горе…»), они, тем не менее, «усмехаясь», возвращаются в родной дом умирать или залечивать там свои душевные и физические раны. Их предсмертная «усмешка» говорит о многом: они — блудные сыновья, не испытывающие жажды покаяния. Ведь «главное, — как говорит герой чеховской “Невесты” Саша, — перевернуть жизнь, а все остальное не важно». Как некогда Никашка, поддавшийся новым веяниям в форме «опрощения», ввергнул в соблазн сомнительных исканий младшеньких своих брата и сестру, так не без влияния Саши и Надя Шумина, «живая, веселая покинула город — как полагала, навсегда». В этом все дело — «как полагала»! Авторская мудрость Мамина-Сибиряка равна чеховской: не склонный к бесплодному морализаторству, он завершает рассказ раздумьем своего повествователя о вековечной силе бытия, процессам которого подвластна судьба человека. «Летняя ночь была уже на исходе», когда завершилась горькая исповедь матушки Руфины: «Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безыменная птичка беззаботно и весело заливалась на ближайшей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины, которая с первым солнечным лучом проснется разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот покой природы заставлял подозревать что-то то скрытое, недосказанное, что, казалось, висело в воздухе…

Вот в этой сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку, и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни».

Экзистенциальная нота не утишает тяжкого впечатления от изображения горестной судьбы еще двух русских стариков — родителей «нигилистов» эпохи наступившего марксизма, но успокаивает мыслью о неодолимости законов бытия, непостижимости тайн жизни.

Нарративная структура рассказа «Все мы хлеб едим» во многом повторяет рассказ «В худых душах»: тот же тип повествования от первого лица, «я» повествователя-рассказчика не является авторским «я», и в тексте можно даже уловить знаки их сознательного разделения. Много общего и в композиционном строе рассказов. Как и в первом случае, герой-повествователь приезжает в село Шатрово в надежде отдохнуть, поохотиться и вообще насладиться идиллией зауральской глубинки, но становится свидетелем небывалой остроты перестроечных процессов пореформенного времени. «Судя по наружному виду крестьянских построек можно было вперед сказать, что народ живет здесь как у Христа за пазухой», но внешняя идиллия взрывается при внутреннем взгляде на судьбы и отношения живущих здесь людей. «Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни, с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании, совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, нарождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни». Внося в художественный текст остро публицистическую ноту, этот социологически-экономический дискурс выдает присутствие авторского голоса. Но ведь были же у Мамина-Сибиряка какие-то внутренние причины скрыться за спиной повествующего героя и, думается, кроются они в боязни выпрямленного взгляда на суть и смысл наступившего времени, с одной стороны, несомненно, способствующего пробуждению сонного провинциального бытия, а с другой, несущего опасность роста потребительских страстей, символом которых стал в России самовар: «… ведь, кажется, пустяки: самовар!..», а главное — повышающего градус людского ожесточения «сверху донизу».

В фокусе долгосрочной временной перспективы социальной жизни выявляется ее феноменологическое начало, т.е. те вечные, но невидимые «пружины и внутренние мотивы, которые заставляют этот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждаться». Это акцентировано смыслом самого названия рассказа — «Все мы хлеб едим», а равно и мотивным характером этого изречения и в других словесных формулах типа «все мы люди, все человеки», и что, прежде всего, раскрывается в рассказе через настойчивое моделирование ситуации превратности человеческой судьбы, предопределяющей смену социальных ролей по известной формуле «кто был ничем, тот станет всем», что верно и наоборот: вероятность богача превратиться в босяка не исключается в той же степени. «Богатство-то, как вода, так из рук в руки и переливается», — резюмирует сопровождающий героя-повествователя в поездке на сельское лоно Сарафанов, суждения которого о наступившем времени вносят еще одну эмоционально-смысловую ноту в сложную полифонию рассказа. Не лишенная комизма фигура Сарафанова как будто специально включена в персонажный состав рассказа «Все мы хлеб едим» для того, чтобы феноменологический принцип художественного мышления явил себя в показательно-наглядной форме: этот вечный тип неудачливого предпринимателя — «бизнесмена» перестройки образца XIX века — служит живой иллюстрацией прихотливости человеческой судьбы, непонятной зависимости ее от невидимых «пружин и внутренних мотивов».

На хорошо прописанном и феноменологическими, и социальными красками фоне много зримее становится несбыточность попыток разрешить вечные («проклятые») вопросы посредством придуманных рецептов, отчетливей проступает истинная суть и тех теорий исправления жизни, которые исповедует главный герой рассказа — сын попа Михея, учитель Лекандра. Его образ выявлял синхронность работы писателя над рассказами «В худых душах» и «Все мы хлеб едим», представая как своего рода инвариант Никашки, тоже зараженного идеей опрощения. Именно этот аспект идейных увлечений интеллигенции в общем русле широко воспринятого «опрощения», восходящего одновременно и к народничеству, и к толстовству, сближает рассказы Мамина-Сибиряка с повестью Чехова «Моя жизнь» (1896) и в какой-то степени рассказом «Дом с мезонином» (1896), обнаруживая сходство и в жизненном материале, и авторском взгляде на популярную и модную среди разных слоев русского общества проблему. На аморфный характер исповедуемых Лекандрой взглядов указывает прежде всего его прозвище — «нигилист», которым насмешливо окликают его и называют за глаза отец и все окружающие. Ироническую номинацию героя органично дополняет такая, например, пикантная деталь, как курящая родительница Лекандры: «До этого, замечает повествователь, — мне ни разу не случалось видеть матушек с папиросами».

Комически-иронический эффект возникает благодаря обыгрыванию классического мотива «шерше ля фам» («где женщина?»), обрастающего большим числом эмоционально-смысловых обертонов благодаря неизбежности выбора жены между деревенской красавицей Анкой и «умненькой, хорошенькой, добренькой», к тому же богатенькой Тонечкой. «Упрощавшийся человек тяжело вздыхал», запутавшись в сетях безысходных противоречий между невозможностью осуществить план опрощения без женитьбы на простой работящей девке и невозможностью жениться на благородной девушке в случае опрощения. И в том, и в другом случае «опрощенец» упирается в тупик: с одной стороны, «ну, возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно покажется с ней век коротать, — все-таки большая разница», а с другой — «вы подумайте: я из-за сохи влезу в избу, как трубочист, а тут этакая Маргарита в качестве жены. Что же я с ней буду делать?». Теоретические выкладки оказываются в прокрустовом ложе действительности. В финале рассказа становится известно: «Нигилист женится». Разумеется, на Тонечке. Игры героя в теорию преобразования мира благополучно кончились до того, как он успел сломать жизнь родителей, Анки или Тонечки.

И дело не в том, что писатель усомнился в извечной ценности труда на земле или углубления связи интеллигенции с народом: сомнению подвергнут путь интеллигентского опрощения как надуманной теория исправления природных «просчетов» бытия, в том числе — людского неравенства. Постоянным объектом его художественного внимания с течением времени становятся те ее представители, которые сохраняя свой обычный облик и естественность человеческого поведения, возвышаются над крестьянством своими знаниями и культурой. Этим героям чужды настроения жертвенности и страдальчества, в своей преданности народным интересам они находят глубокое личное удовлетворение. Именно об этом говорит героиня романа «Весенние грозы» Катя Клепикова учителю Огневу: «Вы смотрите на деревенскую учительницу городскими глазами, как на какую-то подвижницу, которая заживо похоронила себя в непроходимой глуши… А между тем никакого подвига нет, а просто хорошая нормальная жизнь… Мое время занято с утра до ночи и занято не пустой суетой, а настоящим делом, так что каждому прожитому дню можно подвести итог. Чувствовать полным свой день — ведь это уже счастье» [17].

Герои Мамина-Сибиряка идут в деревню не потому, что верят в спасительные свойства деревенской общины, а потому что видят в деревне участок, наиболее всего нуждающийся в их помощи, приложении их сил, профессиональных умений. Именно здесь, в деревне, начинается для них «настоящая жизнь»: настоящая работа, обретение самого себя, даже счастья. О том, как прочны были симпатии писателя к героям подобного рода свидетельствует маленький рассказ «Отрадное явление» из цикла уже 900-х годов «Медовые реки». Он повторяет композиционную структуру больших его романов «Ранние всходы», «Весенние грозы», «Черты из жизни Пепко», воспроизводящих фабульную ситуацию выбора жизненного пути. Встретившиеся после долгой разлуки школьные подруги убеждаются в том, какая непреодолимая пропасть разделила их в результате того, что одна, располагая средствами и временем, полностью отдалась соблазнам жизни «в свою кожу», будь то путешествия по миру — Париж, Бретань, остров Уайт, Венеция или слушание лекции по истории средних веков в Сорбонне, а другая — «со школьной скамьи попала прямо в деревню, в учительницы». Но именно ей, сельской учительнице Катерине Петровне, оказалось подвластно ощущение счастья, полноты и смысла жизни и редкая способность проецировать красоту и многообразие мира на глухое село Ольгино: «Ах, какая ты смешная, Аня… — убеждает она бывшую подругу. — Как-то установилось смотреть на нас, как на героинь и прочее, а в действительности этого-то и нет. Даже нет подвига, который нам желают навязать… (подчеркнуто мною. — Л. Я.) Ведь для села Ольгина я являюсь чем-то в роде академии наук… Моя маленькая аудитория ловит каждое мое слово. Тебе страшна деревенская зима, а для меня это лучшее время. Представь себе зимний вечер… на столе горит лампочка дешевенькая, а кругом стола живой венок из милых детских рожиц… И мы путешествуем по всему свету, переживаем историю, повторяем подвиги человеческого ума…» [18]

Здесь особенно важно обратить внимание на слова «нет подвига, который нам желают навязать», несущие полемические коннотации с искусственно создаваемыми проектами генеральной «перестройки» жизни. 90-е и 900-е годы как раз явились в истории России временем небывалого скопления разного рода идеологем, претендовавших на роль «теории», «учения», «направления», когда один идеологический концепт, не успев отмереть, видоизменяясь и эволюционируя, сталкивался с другим, и, по наблюдениям героини повести Мамина-Сибиряка «Переводчица на приисках», на ее глазах «окруженные ореолом героев» идеологи «развенчивались, уступали место другим…», прежние «дети» превращались в «отцов», когда в духовном обороте общества одновременно оказывались и все разновидности народничества, и разные формы марксизма — от легального до подпольно-радикального, и многочисленные модификации толстовства — от вегетарианства, непротивления злу, нравственного самоусовершенствования до создания земледельчески-трудовых артелей, тут же и «теория малых дел», и многочисленные формы заемной философии от Шопенгауэра и Ницше до социального дарвинизма с его признанием права сильных и эксплуатации большинства меньшинством и т.д.

К этому надо еще прибавить обостренность религиозно-церковных и культурно-художественных исканий, утрату целостности едино-монолитной веры в православие, актуализацию богоискательских и богостроительских идей, кризис классического реализма и бурное развитие авангардизма в искусстве. Все это создавало необычайно сложную картину общественно-духовной жизни страны, и писателю как таковому больших трудов стоило не поддаться стороннему влиянию, отстоять свою творческую идентичность, сохранить то, что по отношению к Мамину-Сибиряку определялось как «самобытность». Удавалось это немногим, и потому из огромного сонма литераторов 90—900-х годов в живой памяти национальной культуры остались единицы. Так, написанные Чеховым в 90-е годы произведения неизбежно должны были отразить и остроту интереса писателя к многослойному опыту духовного брожения эпохи, и глубину собственного самоопределения. Не случайно, что это время отмечено укрупнением прозаических форм, когда новелла зримо уступает место повести, а главное — на углублении их поэтико-смыслового содержания, когда повесть начинает нести романную нагрузку. А о том, что писатель отчетливо осознавал романные интенции создававшихся в те годы произведений свидетельствуют своего рода проговорки в письмах. «Пишу роман для “Нивы”», — сообщал он И. Потапенко о начале своей работы над повестью «Моя жизнь», предварительно называя ее «Моя женитьба». И если повесть «Моя жизнь» действительно «тянет» на роман, то такие рассказы, как «Дом с мезонином» или «Невеста», — на повести.

Внимание к пересечению тем, совпадению в жизненном материале и взглядах на многие стороны духовной жизни современного общества, особенно в характере отношения двух больших писателей переходной эпохи к разного рода «спасительным» теориям, распространенным в среде интеллигенции, разумеется, не снимает и не умаляет необходимости видеть неповторимость творческой индивидуальности каждого из них, различие в их художественных почерках. За общим типом речевого субъекта по формуле «Ich-Erzahlung», характерным и для обоих рассказов Мамина-Сибиряка и повести Чехова «Моя жизнь», скрываются и глубокие различия их повествовательной структуры. Если в рассказах «я-повествователь» предстает как свидетель изображаемых событий, происходящих в селах Шерама и Шатрово, то в повести он не только включен в развитие городских событий, во многом именно своими поступками и предопределяя их, но выступает и как автор их описания, давая своей авторской волей большую или меньшую свободу самовыражения другим героям.

В орбиту проникновенного повествования Мисаила Полознева о «своей жизни» включается и общая картина жизни провинциального городка, и две сюжетных линии любовного романа — самого рассказчика и дочери путевого инженера Маши Должиковой, его сестры Клеопатры и доктора Благово, и фигуры многих городских обитателей — от живущих «на главной улице» Большой Дворянской до населяющих окраины, вроде подрядчика малярных работ Редьки. И поскольку характер поведения героя-повествователя обуславливает общение с людьми, склонными к осмыслению феномена жизни и реально сложившихся в ней отношений, то все повествовательное пространство «Моей жизни», что в равной степени относится и к одновременно с повестью вышедшему в свет рассказу «Дом с мезонином» (1896), оказывается плотно насыщенным столкновениями разноречивых мнений, идей, взглядов, то есть глубоко идеологичным и полидискурсивным.

Более чем вековой опыт исторического развития России, прошедшей через горнило двух тотальных «перестроек» по формуле «главное — перевернуть жизнь, а все остальное не важно», неизбежно подталкивает исследователей творчества Чехова к выявлению новых смыслов. Сын городского архитектора, потомственный дворянин Мисаил Полознев, придя к твердому убеждению о негуманности всего строя современной жизни, принимает решение порвать со своей средой и «добывать себе кусок хлеба физическим трудом». Он уходит в маляры, пробует заняться вместе со своей недолговременной женой Машей Должиковой хлебопашеством и не умозрительно сочувствует народу, а живет с ним одной жизнью, испытывая все тяготы его подневольного существования — нищету, бесправие, унижение. Своим убеждениям он предан до глубинной искренности, он не заигрывает с «опрощением», как Лекандра, и не тешится экспериментом «ухода в деревню», как Маша, а считает, что социальное равенство должно стать нормой общественной жизни: «…нужно, чтобы все без исключения — и сильные, и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд, в качестве общей, для всех обязательной повинности».

Как глубоко была укоренена эта жажда социального равенства в общественном сознании, как широко охвачены были ею разные слои русской интеллигенции и как неотрывна была она от духовных исканий многих писателей, живших на перепутье XIX и ХХ веков, убеждает и «Дом с мезонином», где до неприязни друг к другу спорят последовательница малых дел, земской деятельности и других форм общественной самоорганизации и сторонник освобождения труда и всеобщего равенства, художник, тоже, как и Мисаил, представший в роли повествователя о событиях, участником и инициатором которых он был сам: «Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, — убеждает он Лидию, — дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворить его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида. — Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день…»

Совпадение мыслей художника и Мисаила столь велико, что создает впечатление внутренней работы одного человека. «Стало быть, по-вашему, — спрашивает Мисаила доктор Благово, — физическим трудом должны заниматься все без исключения?

— Да.»

В отличие от рассказа «Дом с мезонином» у героя «Моей жизни» более жесткие и опытные оппоненты, в суждениях которых много реальной правды, опрокидывающей его утопически-романтический дискурс: «А не находите ли вы, — резонно возражает Мисаилу доктор Благово, — что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезной опасностью?»

В доказательство несостоятельности намерений Мисаила избранным им способом решать общие проблемы жизни готова привести до неопровержимости веские аргументы и Маша Должикова: «Прошло лето, — говорила Маша. — Теперь мы с тобою можем подвести итоги. Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого, — честь нам и слава, — мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу, хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность — все осталось, как и было, и оттого, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше…»

В итоге покидает деревню Маша, уходит вслед за ней и Мисаил, окончательно погружаясь в трудовую жизнь городского маляра и заменив Редьку на подрядных работах, постепенно добиваясь у горожан признания своего нового положения. Если быть точным, ничего от общих намерений изменить жизнь не остается, изменился лишь социальный статус самого героя, «теория» же подтвердила свою несостоятельность. Но и в логической правоте доктора Благово и Маши Должиковой нет истины, каждый из них по-своему принял существующий порядок вещей и в своем месте в нем нашел полное удовлетворение: Маша — в том, чтобы жить «в свою кожу» на хищнически нажитые отцом деньги — путешествовать, петь, «читать книжки», красиво одеваться, доктор — в том, чтобы делать карьеру.

Однако, исходя из феноменологической позиции, близкой Мамину-Сибиряку, — «все мы люди, все человеки» и «все мы хлеб едим» — Чехов избегал деления своих героев на «положительных» и «отрицательных», предпочитая каждому из них дать возможность выявиться во всей полноте и тем самым воздействовать на достоверность читательской и филологической рецепции. Столкновение разнородных мнений, взглядов, позиций, исполненных противоречиями форм поведения без видимого авторского вмешательства в их оценку создавало то полифоническое звучание текста, которое известно — не без теоретической подачи М.М. Бахтина — по произведениям Достоевского, и, провоцируя впечатление объективизма и беспристрастности повествования, создает немалые трудности в определении авторской позиции. Пафос повести вовсе не обличительный: писатель дает понять, что «теоретическая» неправота героя не закрывает его человеческой правоты и жесткая логичность суждений его оппонентов не умаляет высокой цены деятельного и практически явленного гуманизма. В душевной обеспокоенности Мисаила, сердечной боли его по поводу искажения человеческой природы в современном обществе больше позитивно работающей на общественный прогресс энергии, чем в холодно-рассудочном признании доктора Благово извечности факта борьбы за выживание: «Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга». При «правильном» чтении истинно «проницательный читатель» звучание ноты бодрости и надежд на будущее различит отчетливо. Знаковым моментом фабульного развития повести явился образ девочки, обозначившийся в самом ее финале: это «крошечная племянница» Мисаила, плод запретной любви его сестры Клеопатры и доктора Благово. Иногда у могилы ее матери они встречают Анюту Благово, и «девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает ей ручки, и мы останавливаемся и вместе ласкаем эту милую девочку».

Финальный образ девочки воспринимается как символ неизбывности человеческих надежд на будущее. И не только. В русской литературе сложилась прочная традиция поверять креативные интенции общественных проектов судьбой ребенка, в «слезинке» его видеть меру их истинности. Есть образ такой девочки, проливающий свет на «дело» героя, и у Мамина-Сибиряка в романе «Без названия». Не только сохранилась, но и обрела новые семантико-поэтические краски эта традиция в творчестве писателей советской эпохи, достойным примером чего могут служить повесть А. Платонова «Котлован» и роман Л. Леонова «Соть».

На горьком опыте национальной истории отчетливо высветилась губительность проектов по безоглядному «переворачиванию» жизни, сомнительность торопливых попыток гармонизировать общественные отношения методами крайнего радикализма, заставляя с большим пониманием относиться к поискам путей их преобразования в эволюционном русле устремлений к торжеству справедливости. В силу этого внимание сегодняшнего читателя фокусируется не столько на теоретической тщете намерений героев Мамина-Сибиряка и Чехова изменить жизнь к лучшему, сколько на глубине их бескорыстно-беззаветной отданности идее служения общему благу, на силе их неравнодушия к общественному неблагоустройству, что остро оттеняет состояние эгоистической закоснелости современной интеллигенции. Видя, как и по сию пору человечество далеко от обретения действенных средств достижения земной гармонии и как часто оказывается в тупике очередного витка исторической диалектики, когда вера в «полную и окончательную» победу идеи оборачивается новым миражом, нельзя не оценить высокой меры душевно-духовной прозорливости и того, и другого писателя, проступившей в нежелании сделаться адептом очередной спасительной теории, в отказе от прямолинейного ответа на вопрос «что делать?».

Пространством наивысшего схождения творческих орбит Мамина-Сибиряка и Чехова стала Сибирь — и как географическая величина, и как литературный образ, мотив, миф. Подробно говорить о месте и роли сибирского локуса в творческой судьбе Мамина-Сибиряка нет необходимости, они определены им самим в выборе псевдонима — «Сибиряк»! Писатель не проводит четких границ между Уралом и Сибирью, исходя из некоего биографического основания: он имел право считать себя «сибиряком»: Висимо-Шайтанский заводской поселок, где он родился, располагался в Верхотурском уезде, некогда входившем в состав Сибирской губернии. Об изначальном интересе к проблемам Сибири, подтвердившем масштаб исторической мысли писателя, свидетельствует его ранний очерк «300-летний юбилей завоевания Сибири» (1881). Уже в 1894 году, явственно обозначив поворот в сторону внимания к духовной жизни интеллигенции, началась одновременная публикация двух его романов — это «Черты из жизни Пепко» в «Русском богатстве» (№№ 1–10) и «Без названия» в журнале «Мир Божий» (№№ 1–10), особое место которых в творческой эволюции писателя в полной мере до сих пор не осознано.

И тот, и другой роман с полным правом могут именоваться программными для творчества Мамина-Сибиряка произведениями, выразившими как его литературно-эстетическое кредо, так и национально-историческую концепцию, с предельной полнотой открытости выявившими его общий взгляд на мир, человека, творчество. По существу эти два одновременно написанные и представленные читателю романа являют собой цельное и единое художественное строение, своего рода жанровую дилогию, когда чтение одного произведения отдельно от другого отдает неполнотой восприятия каждого.

Глубина автобиографичности романа «Черты из жизни Пепко» ни в коей мере не ограничила силу художественного обобщения изображенного в нем. В романе развернута редкая по глубине жизненной достоверности и художественной убедительности картина становления русского писателя из разночинной среды, силою внутренней воли преодолевающего отупляющую атмосферу мещанского существования, тягостную необходимость трудиться за кусок хлеба и требухи, бороться с соблазном легкого успеха и минутной славы, противостоять влиянию продажной литературы и всесильной критики. С достойным удивления мужеством противостоит Василий Иванович всему, что уводит его от служения «здоровой и хорошей» литературе, безжалостно вытравливая из себя все мелочное и эгоистическое, что мешает формированию его творческой личности, обретению широкого жизненного кругозора, острой наблюдательности, художественного мастерства. Выработанный им кодекс личной чести оказывается неотделим от заповедей творческого поведения: «гори правдой, не лукавствуй, не давай камень вместо хлеба», «не формальная правда нужна, не чистоплюйство», «нельзя довольствоваться фотографиями»… В итоге духовных и эстетических исканий молодого литератора один из основных его эстетических постулатов предстает в форме вопроса-утверждения: «Несовершенство нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы жить, дышать, думать. Где эта жизнь?..»

И если поиски «положительной стороны» русской жизни позиционируются как одна из главных задач и целей национальной литературы, то именно этому и посвящен роман «Без названия», именно это и составляет его содержательную доминанту. В нем писатель открыто, «программно» присоединяется к осуществлению тех устремлений, которыми неустанно руководствовалась русская литература в лице лучших своих представителей и которые нашли свое наивысшее выражение в творческом гении Достоевского. «Изобразить положительно прекрасного человека» — такова была, по его словам, «главная мысль» романа «Идиот». Создать образ столь положительного, безупречного во всех отношениях героя, своего рода человеческий идеал, который как можно полнее отвечал бы вызову времени и мог служить образцом жизненного поведения многих — именно эту задачу и стремился разрешить Мамин-Сибиряк в романе «Без названия». Исследователи романа не должны отключаться от мысли о том, какому читателю он был адресован и где первый раз появился в печати. Это был журнал «Мир Божий», предназначенный для юношества, и это был в литературе тот случай, когда связь писателя с читателем была непосредственно заложена в творческом замысле, осознавалась как творческая интенция, определяла доверительно-просветительскую тональность повествования. Наставительно-воспитательная компонента в одинаковой мере присуща обоим произведениям, что наглядно подтверждает первоначальное название романа «Черты из жизни Пепко» — «Завоевание Петербурга» с выразительно-говорящим подзаголовком «Посвящается молодым авторам».

Главный герой романа «Без названия» — Василий Тимофеевич Окоемов наделен какой-то высшей мерой бытийственного дара, неизбывной верностью первоисходным началам человеческой жизни, рождающим убеждение, что «главное, закон исполнить всякий человек должен», то есть род свой продолжить, семью создать, ощутить себя «живой частью того громадного целого, которое называется русским народом». Коренной москвич, выходец из хорошего, но разорившегося дворянского рода, в поисках жизненного поприща немало поездивший по свету, несколько лет проживший в Америке и сколотивший там состояние, он возвращается в Россию, вооруженный твердым намерением послужить ей. Немалую роль при этом играет сравнение двух типов национальной действительности — американской и российской. Героя до глубины души потрясают парадоксы русской жизни: несметные природные богатства страны и безмерная бедность ее населения: «Тощее поле, тощая лошаденка, тощий мужик». На память невольно приходят стихи Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь!..»

Американский миф приобретает в романе сквозной характер. В Америке Окоемов не встречался с явлением «ненужного человека», в России обилие «лишних и ненужных людей» предстает как специфическая особенность национального менталитета, и литература, возмущается Окоемов, как будто узаконивает это явление. Задетый за самую сердцевину патриотического чувства, герой пытается разобраться в причинах столь резких контрастов в историческом облике Америки и России: почему, например, из Калифорнии «получилась цветущая страна, текущая млеком и медом», Сибирь же «стоила русскому племени страшной затраты, а результаты еще в будущем».

Конкретно-непосредственная цель Окоемова состоит в том, чтобы, собрав из числа ненужных в Москве людей коллектив возможных пайщиков, уехать с ними в Сибирь и силами этой трудовой артели отдаться разработке приобретенных на американские деньги золотых приисков, а вместе с этим освоению других богатств далекого края — развитию интенсивных форм земледелия, животноводства, рыборазведения, пчеловодства и т.д. Он не скрывает, что по социальной сути своей является купцом, что, как купец, любит деньги, но деньги для него не самоцель, а лишь средство, с помощью которого он может выразить глубину своих патриотических чувств и быть полезным стране, нации, народу: дать работу тысячам людей, вдохнуть деятельную энергию в огромные необжитые пространства. Полного нравственного и духовного равновесия, глубины личностного самовыражения он достигает не на пути личного обогащения и удовлетворения узкокорыстных интересов, а на пути общественного служения, желания «послужить живым примером для других». Все дело в том, что патриотическая идея обретает у него характер личного дела, срастается с кодексом личной чести, достоинства, смысла жизни.

В разных местах и разным людям он без устали разъясняет общезначимый и национально-патриотический смысл своего предприятия и настаивает в особенности на важности убеждения, что оно может быть примером деятельности в глобальных масштабах: «Вот именно с этой точки и начинается разница, так сказать, с общепринятым купцом. Тот нажил капитал, и в этом его цель, а для нас капитал будет только средством, как всякая другая сила». Перед отъездом из Москвы в Сибирь он читает своим новым компаньонам «Фауста», и подобно гетевскому герою, готовится обрести счастье в жизни, отданной преобразованию родной страны.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

  1.Мамин-Сибиряк Д.Н. Избранные письма А.С. Маминой от 27 октября 1896 г. // Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. Соч. в десяти томах. Т. 10. — М., 1958, с. 388.

  2.Мамин-Сибиряк Д.Н. Черты из жизни Пепко. // Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. Соч. в шести томах. Т. 5. — М., 1981, с. 231.

  3.Мамин-Сибиряк Д.Н. Избранные письма А.С.Маминой от 03 марта 1894 г., с. 383.

  4.Чехов А.П. Случай из практики. // Полн. собр. соч. и писем в тридцати томах. Т. 10. — М., 1977, с. 80.

  5.Там же, с. 81.

  6.Чехов А.П. По делам службы. Т. 10, с. 99.

  7.См., напр.: Известия Уральского государственного ун-та 2002, № 24. Гуманит. науки. Выпуск 5.

  8.Мамин-Сибиряк Д.Н. Избранные письма А.Ю. Анненскому от 02 марта 1912 г. Т. 10, с. 396.

  9.Дергачев И.А. Творчество Мамина-Сибиряка — историко-литературный парадокс // Известия Уральского государственного университета, 2002, № 24, с. 8.

10.Кондаков Б.В. Русская литература 1880-х годов и Д.Н. Мамин-Сибиряк // Известия Уральского государственного университета, 2002, № 24, с. 15.

11.Там же, с. 16.

12.Там же, с. 24.

13.Митрофанова Лариса. Д.Н. Мамин-Сибиряк и Урал 1880-х годов // Урал, 2007, № 11, с. 187.

14.Щенников Г.К. Второй ряд романов Д.Н. Мамин-Сибиряка // Известия Уральского государственного университета 2002, № 24, с. 29–39.

15.Слобожанина Лидия. Мамин, которого знаем мало // Урал, 2007, № 11, с. 197.

16.Мамин-Сибиряк Д.Н. В худых душах. // Мамин-Сибиряк. Собр. Соч. в шести томах. Т. 1., 1980. Комментарии, с. 597.

17.Мамин-Сибиряк Д.Н. Весенние грозы. // Сочинения в двенадцати томах. Изд. Ф. Маркса. Т. 6, с.141.

18.Мамин-Сибиряк Д.Н. Отрадное явление. // Мамин-Сибиряк Д.Н. Поздняя проза. — Екатеринбург, 2008, с. 206–207.

Глубоко симптоматично, что осмысление “положительной стороны” русской жизни Мамин-Сибиряк связывает именно с Сибирью и что программное произведение его оказывается самым “сибирским” по своему повествовательному колориту. Словом, если уяснение места и роли Сибири в творческой и жизненной судьбе этого писателя никогда отдельной проблемы не составляло и представало как органически заданный вектор маминоведения, то факт поездки Чехова на о. Сахалин через всю Сибирь предметом особого, выделенного, рассмотрения был постоянно и с течением времени не потерял способности открывать новые смысловые и эмоциональные абрисы.

Прежде всего, слух о возможности поездки Чехова в Сибирь многих поразил отсутствием внешней мотивированности: его отговаривали, запугивали непреодолимыми трудностями пути, не скупились на доказательства бессмысленности намеченного плана. Но он был непреклонен и вопреки всему от поездки не отказался. Опровергал писатель и слухи о том, что его “будто кто-то командирует туда”. “… вздор. Я сам себя командирую, на собственный счет” [1].

Непосредственным итогом его поездки в Сибирь явилась историко-публицистическая книга “Остров Сахалин”, очерки “Из Сибири” и дорожные письма родным, друзьям, коллегам, и параллельное чтение их с романом Мамина-Сибиряка “Без названия” близость их жизненных взглядов и творческой позиции высвечивает с неопровержимой силой убедительности. И дело не только в том, что в момент успешного продвижения по литературной стезе Чехов внутренне ощутил опасность духовно-душевного торможения, творческой приостановки и захотел получить мощную подпитку новыми впечатлениями, а в стремлении укрепиться в бытийственных началах жизни, ощутить живые токи естественно-природного течения бытия, и именно на этих высших уровнях философии жизни, общей мысли о мире и человеке в нем, с особенной силой инициируемых Сибирью, значимо обнаруживалась глубина творческой смычки двух выдающихся литераторов эпохи.

Знаменательно, что какая-то часть сибирского пути Чехова и героев романа “Без названия”, Окоемова и его компаньонов, оказывается общей — от Москвы до Нижнего Новгорода по железной дороге, затем по Волге и Каме с остановкой в Перми и Екатеринбурге, далее по Зауралью, вследствие чего дорожная фабула полнится совпадающими от широты российских просторов впечатлениями и естественным образом отзывается следами множества пересечений как в содержании, так и в форме сибирских произведений писателей. И хотя возникшая филологическая ситуация сама по себе достойна стать предметом специального рассмотрения, в контексте данной статьи важно отметить лишь ее принципиальную значимость в аспекте творческого взаимодействия писателей как факт многообразного характера литературных связей — от контактных до типологических. Знаменательно, что по дороге в Пермь — на Каме — Мамин-Сибиряк и Чехов “встретились” и как авторы в одинаковой степени интересных современному читателю книг: “На пароходе библиотека, — сообщает он родным, — и я видел, как прокурор читал мои “В сумерках”. Шла речь обо мне. Больше всех нравится в здешних краях Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нем говорят больше, чем о Толстом”.

Оправдывая “самокомандировочный” характер сибирской поездки, Чехов исходил из органичности, естественности и природности патриотического чувства, свойственного человеку, из искреннего преклонения перед подвигом предков, жертвенно защищавших дальние рубежи России. Глубокой внутренней страстью дышит его письмо издателю газеты “Новое время” Суворину, исполненное нескрываемым гневом против тех, кто неспособен откликнуться на исторические интересы России: “После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин — это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно создал человека. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают…”

В мыслях об отсутствии в стране сберегающего отношения к человеку, о неразумной, поистине хищнической растрате человеческого потенциала нации писатели сближаются и в способе их выражения, их эмоциональной окрашенности. Дорожные раздумья Окоёмова воспринимаются как продолжение эпистолярного диалога Чехова с известным журналистом: “Именно об этом и думал Окоёмов, сидя на палубе и любуясь грациозной панорамой северной могучей реки. Сколько было потрачено неустанной энергии русским народом, чтобы совершить этот путь, сколько пролито крови, потеряно жизней — это было стихийное движение славянского племени на дальний восток, как стихийно движется вода в громадных северных реках” [2]. Герой Мамина-Сибиряка, как и Чехов, в определенном смысле тоже выступающий как герой своих сибирских произведений, способен “на собственный счет” принять горькую долю простого человека, страдающего от кричащих несовершенств русской жизни, в том числе — равнодушия образованного общества: “…Я видел грустные лица женщин, видел оборванных отощавших детей, и мне сделалось страшно и совестно, точно я виноват, что они мучаются. Конечно, виноват, как виноваты и другие”. И с той же душевной болью говорит он о судьбе отправляемых в Сибирь арестантов: “А вы подумали о тех несчастных, которые томятся на арестантской барже?.. Ведь это страшный минус нашей русской жизни и немой укор опять-таки нам которые должны работать прежде всего на пользу ближнего, на пользу меньшого брата, чтобы он не крал, не грабил, не убивал, не терял совести”.

Иногда трудно не поразиться совпадению у обоих писателей точности реакций на текущие события жизни, в том числе международной. В одном из писем Чехов пишет: “По Амуру живет очень насмешливый народ: все смеются, что Россия хлопочет о Болгарии, которая гроша медного не стоит, и совсем забыла об Амуре. Нерасчетливо и неумно” (27 июня 1890 г.). Писатель говорит: “смеются…” Смеются над парадоксальным несоответствием понимания властями русских интересов на Дальнем Востоке и на Балканах, где Россия постоянно ввязывалась в разрешение конфликтов между славянскими народами и турками, защищая свободу “братушек”, то сербов, то болгар. И дело, разумеется, не в том, что не следовало сохранять верность славянскому патриотизму, а в том, что не следовало пренебрегать прежде всего проблемами собственной безопасности и рисковать потерей дальневосточных территорий. Это и заставляло “смеяться”.

Смеховая реакция в духе иронически-юмористического восприятия взрывов славянского патриотизма в связи с событиями на Балканах отчетливо улавливается и у Мамина-Сибиряка, остро ощущавшего национальные приоритеты. Любопытно, что ситуация русского присутствия в балканских делах нашла довольно развернутое отражение в романе “Черты из жизни Пепко”. У целеустремленно движущегося к намеченной цели — стать “настоящим” писателем — Василия Ивановича Попова в романе есть своего рода alter ego, двойник — Пепко. Он тоже Попов, только Агафон Павлович, и у него нет той озаряющей цели, которая, несмотря на неизбежность жертв и страданий, все-таки придает жизни полноту и цельность. Он живет одним днем, безвольно покоряясь обстоятельствам, бездумно растрачивая себя на удовлетворение сиюминутных радостей и удовольствий, бросаясь от одного дела к другому — то литературным занятиям предпочтет юриспруденцию, то, поступив вольнослушателем в технологический институт, не прочь стать “профессором монгольских наречий”. Жизненные метания логично приводят к соблазну военных подвигов на фронте балканских событий, где, впрочем, он готов “сделаться турком. Феска очень идет к моей фотографии…” Эпизод ухода добровольцем на защиту сербских “братушек” от “турецких зверств” отчетливо коррелирует с общим юмористически-ироническим модусом изображения Пепко и проливает свет на отношение самого автора к такого рода подвигам, явившимся “плодом газетного поджиганья”.

Вообще, диалогичный с романом “Без названия” этот роман до удивления точно отзывается на многие стороны личных и просто типологически совпадающих отношений писателей. Созвучность биографических черт главных героев романа “Черты из жизни Пепко” ассоциируется с чертами реальных биографий писателей: и южанин Василий Иванович Попов, и сибиряк Пепко испытывают неизбывную тягу к родным местам, роман и заканчивается возвращением первого домой и неисключенностью такого варианта для другого. Провожая друга, Пепко смятенно произносит: “О, я и сам уеду… Все к черту!.. едем вместе в Сибирь…” Дружба героев как бы символизирует неразрывность южных и северных просторов России и сублимирует неизбывность провинциального чувства писателей: планами о том, что “с радостью переселился бы куда-нибудь в провинцию, но пока это только одна мечта”, делится в письме писателю М.В. Эртелю Мамин-Сибиряк; “я бы остался здесь жить” — пишет родным из Восточной Сибири Чехов. Пространственно-территориальная компонента мировосприятия писателей органично смыкалась с их эстетикой и поэтикой. Потому так важен в их творчестве неизбывный и для всей истории русской литературы архетип пути, мотив дороги. Потому так велика в творчестве обоих писателей роль дорожно-путевой фабулы, обретающей значение жизненного Пути, восходящей к обретению смысла жизни.

Подтверждением того, как глубоко ощущал Чехов колдовскую, метафизическую, жизнепреобразующую силу дороги, носящей хронотопный характер, т.е. возникающей из слияния пространства со временем, дает уже и предшествующий Сибири его творческий опыт. Повествовательной основой повести “Степь” (1888) так же, как во всем своде сибирских произведений, является дорожная фабула, и дорога так же дана в переживании одного героя, открытого к внутреннему восполнению, в одном случае — самого автора, в другом — девятилетнего мальчика Егорушки, отправленного в далекий город на учебу с попутным степным обозом. Чистому, незамутненному расчетливым опытом взгляду ребенка действительность открывается в мощной оптике степных просторов, когда “едешь час-другой” и когда “все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям”, когда жизнь оборачивается невидимой другим подлинностью, своим, так сказать, бытийственным нутром, поражающим детское сознание разрывом между природным предназначением человека и его реальным положением в обществе. “И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром и для мира, никем не воспетые и никому не нужные”.

Это эпическое напряжение чеховского стиля глубоко созвучно духовным терзаниям и автобиографического героя Мамина-Сибиряка — Василия Ивановича Попова, жаждущего найти ответ на вопрос о “положительной стороне” русской жизни: “Где эта жизнь? Где эти таинственные родники (направо поедешь — сам сыт, конь голоден, налево — конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь — не видать ни коня, ни головы), по которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть…”

Мужественно одолев все трудности сибирского пути на Сахалин, духовно обновленный преодоленными преградами к цели и вдохновенный победительным испытанием своих сил Сибирью, Чехов, подобно Окоемову, не может удержаться от недоуменного вопроса, почему прекрасный, располагающий к счастливой жизни край, превращен в место устрашения и наказания: “Не понимаю, почему здесь излюбленное место для ссылки” (28 мая 1890).

Сибирью Чехов отвечал на вопросы онтологической значимости, восходящие к его представлениям о высших ценностях жизни, и главной в их числе оказалась человеческая способность к самостоянью. Самым важным оказалось то, что “выдержала экзамен”, проверку мощным хронотопом Сибири чеховская антропология, вера в человека как такового: огромный потенциал его возможностей и высокую меру способностей управлять им. В Сибири Чехов столкнулся с самым первоисходным началом человеческой натуры — волей к жизни, измеряемой силой живого, непосредственного противостояния неохватному пространству, суровому климату, природным стихиям и отменяющей заранее придуманные и свыше предписанные правила поведения, исходящие из абстрактных теорий объяснения жизни.

И до Чехова в Сибири бывали именитые люди — Гончаров, Короленко, Успенский, Елпатьевский… Особенность же Чехова состоит в том, что он испытывает человека не препятствиями, чинимыми другими людьми из соображений выгоды, наживы, власти, а ситуацией чистой экзистенции — в процессе самоодоления. Экзистенциальный характер взгляда на человека в очерках “Из Сибири” задан их зачином:

“— Отчего у вас в Сибири холодно?

— Богу так угодно! — отвечает возница”.

Люди, осваивая далекий край, исходят из архетипического сознания жизни по Божьей воле и воспринимают сибирский топос как равнозначный их собственной природе, их собственной воле к жизни.

На всем протяжении “конно-лошадного” странствия Чехова сопровождают сибирские люди: ямщики, проводники, паромщики, местные жители, предоставляющие кров и пищу, для которых то, что воспринималось “европейцем” как экстрим, было нормой и образом жизни, когда воля к преодолению вызовов суровой природы переплавлялась в черту характера. “Народ все больше независимый, самостоятельный и с логикой” — обобщает писатель свои наблюдения в письме к родным, формируя реальное понятие “сибирского характера”.

Чеховское видение сибирского человека, которому жизнь открывается необходимостью самостоянья перед тайнами мироздания, которому в Мире не на кого положиться, кроме как на себя, глубоко родственно Мамину-Сибиряку, приводит на память и Савоську, и дядю Силантия, от лица которого веет “такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить”, и Окоемова, который откровенно “любовался уральским бойким людом. Какие все смышленые лица, какая сметка и какой, наконец, свободный разговор с совершенно незнакомыми людьми. Только привольный богатый край мог создать такое население. Простой рабочий выглядел здесь завтрашним богачом, и это придавало ему совершенно особенную складку” и приводило к уверенности в том, что “с таким народом можно будет работать” [3].

Поразительно близки оказались оба писателя в назывании той силы, которая ведет к преодолению экзистенциальных страхов в ситуации “я-в-мире”, руководит волей и самостояньем человека. “А Бог?” — из раннего произведения этот вопрос как извечная формула бытия-в-мире переходит в его программный роман “Без названия”: “У большинства переселенцев средств едва хватало, чтобы доехать до Перми.

— А как же вы дальше поедете?..

— А бог-то, барышня? — отвечали вопросом солидные мужики”, что полностью соотносится с мировосприятием и чеховского героя, исходящего из веры в незыблемые законы бытия: “Богу так угодно”.

Если попытаться вычленить одну из самых креативных констант чеховского мировоззрения, своего рода эмоционально-психологический концепт его жизненной философии, то это, несомненно, будет “терпение” и сопряженные с ним воля к труду, работе, делу, творчеству. Надеждой и верой в терпенье полнится весь сибирский цикл, оно — мотивное начало многих его художественных произведений. Терпение не в смысле покорности обстоятельствам, а в смысле терпеливого, волевого преодоления их. “Я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения, — с удовлетворением исполненного долга сообщает он Суворину. — Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым…” (11 сентября 1890).

Принципиально значимо, что семантико-поэтическая роль мотива терпения возрастает у Чехова по мере обогащения творческим опытом, по мере приближения к концу жизненного пути, совпавшего с ростом общественного напряжения в стране. Нельзя не заметить, как с течением времени углубляется инвариантность лексемы. В рассказе “Новая дача” (1899) “терпение” предстает уже в значении силы, способной регулировать человеческие отношения, сглаживать социальные конфликты, как фактор измерения глубины общечеловеческих связей. Жену инженера Кучерова, построившего дачу близ деревни Обручановой и не сумевшего наладить добрососедских отношений с мужиками, кузнец Родион Петров призывает к терпению как единственной возможности ужиться на новом месте: “Не обижайся, барыня, — сказал Родион. — Чего там! Ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тут, потерпишь, и все обойдется. … Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, вступиться, значит, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет. Не обижайся… потерпи… Чего там!”

И не столько на классовом, социальном или имущественном характере конфликта акцентирует внимание Чехов, сколько на его феноменологической сути — неспособности людей в сложившейся ситуации понять друг друга. И мужики в рассказе предстают вовсе не как кроткие пейзане или жертвы тотальной несправедливости, а как обыкновенные люди, среди которых случаются и завистники, вроде Козова, и смутьяны типа Лычкова, и жизнь господ далека от идиллии, какой видится она с внешней стороны. У “барыни” Елены Ивановны “душа болит” из-за нескладывающихся отношений с родней мужа, к тому же она серьезно больна: “нет сна, не дают покоя головные боли…”, она “согласна, пусть лучше самый тяжелый труд, чем такое состояние”. У каждой стороны свои проблемы, боли и печали, но “почему же, — думают мужики, проходя мимо опустевшей “новой дачи”, — они не ужились и разошлись как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором? Почему с новым владельцем живут в мире, а с инженером не ладили?”

Тут наглядно проступает роковая роль именно “нетерпения”, избыточности революционной воли: надежды на возможность тотальной перестройки мира и скорейшего переплава человека по принципу: “Пусть скорее грянет буря!” и “главное — перевернуть жизнь, а все остальное не важно”, как писал М. Горький. В этом аспекте глубоко симптоматично название исторической повести Ю. Трифонова “Нетерпение”, обращенной к изображению террористов “Народной воли”, нетерпеливо подстегивающих естественный ход истории, возведших насилие над жизнью в принцип ее преобразования. Все клонилось к подмене жизни как таковой концептом перманентной “борьбы”, мирного развития — провокативным подталкиванием к “переделам”, “перестройкам”, “перевертыванию”. В этой ситуации опасного крена русской истории стабильность творческой позиции и Чехова, и Мамина-Сибиряка обретает поистине непреходящую значимость.

Живущие в ту же эпоху, что и Горький, все трое, как писатели, по гамбургскому счету испытывая почтение друг к другу, бывшие очевидцами тех же вспышек революционной мысли, ни Мамин-Сибиряк, ни Чехов не поддались искушению скорых решений вечных вопросов, быстрых путей совершенствования жизни, не сдали своих творческих позиций перед силой авторитетного мнения Горького о том, что “теперь — совершенный человек не нужен, нужен боец, рабочий, мститель” [4].

И в момент наивысшего накала идеологического радикализма, в ситуации, казалось бы, неминуемости революции [5], ни тот, ни другой ни на йоту не отступили от своего убеждения в первоисходной значимости труда как фундаментирующего фактора земной жизни, как заповеданного свыше начала человеческого бытия. Объективно своего рода полемическим вызовом горьковскому призыву отдать приоритет созданию героя-бунтаря, мстителя, утверждать в литературе “потребность борьбы” воспринимаются многие, столь же, как и у Горького, афористически звучащие, высказывания героев Мамина-Сибиряка и Чехова. “Кто трудится, кто терпит, тот и старше”, — убежден плотник Костыль из повести “В овраге”: “И святой Иосиф… был плотник. Дело наше праведное, богоугодное” [6].

И под воздействием экстремальных обстоятельств надвигающейся революции ни у того, ни у другого писателя не произошла смена персонажного ряда: по прежнему отнюдь не революционеры, подпольщики или политические деятели являлись героями их произведений.

У многих современников Чехова не было сомнения в том, что героиня его рассказа “Невеста” Надя Шумина, резко оборвав идущие полным ходом приготовления к свадьбе и покинув родной город, “уходит в революцию”. Автор как будто не опровергал догадок в этом роде, важнее другое — как он к этому “уходу” относился и в какой мере такого рода героиня совпадала с его представлением о подлинном и реальном герое времени. При внимательном чтении рассказа, открывающем глубину его подтекста, сомнений в том, что автор далек от подтверждения истинности сделанного героиней выбора, не остается. Сама повествовательная структура произведения с обилием авторских оговорок и модальных конструкций типа “казалось”, “так бывает”, “быть может” и “как полагала” заставляет усомниться в оправданности пути героини к “к новой, ясной жизни, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным!” “Ясной” и прекрасной эту предстоящую жизнь можно признать, если пренебречь разрушительными последствиями ее скородумного ухода из отчего дома, отвлечься от непомерно высокой цены, заплаченной другими за учиненный “переворот” ее жизни, прежде всего самыми близкими ей людьми — бабушкой и матерью, обреченными на вечное существование “в худых душах”: “Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка, и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости: так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск… и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!”

Так пересеклись по истечению времени, прошедшего в нетерпеливом ожидании общественных перемен, рассказы “В худых душах” (1888) Мамина-Сибиряка и “Невеста” Чехова (1903), подтвердив устойчивость мотива “ухода в революцию” и дав возможность читателю в зеркале сломленной судьбы поповской дочери Ани прозреть возможную участь еще одной блудной дочери русской литературы кануна революции. И в этом контексте уже по-другому способны восприниматься такие детали, как ночной обыск полиции и экзальтированные мечты дочери о “легкой, беззаботной жизни” на фоне утраченных по ее воле “навсегда и безвозвратно” чести и покоя родных, и, наконец, те беззаботность, “живость и веселие”, с которыми она покидает, “как полагала, навсегда”, разрушенное ею родное гнездо. Здесь и проявляет свою глубину чеховская вера в неотменимую ни при каких обстоятельствах силу закона о связи всего со всем, “между всеми, всеми”: невозможно “перевернуть” даже одну жизнь без последствий для жизни многих других — русская революция доказала это с поучительной мерой наглядности. Да и в случае с Надей, покидающей город “живой, веселой”, страдают не только бабушка и мать, но в той же мере “прошлое потеряно” и для опозоренной семьи жениха, а потому “бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы не встретились отец Андрей и Андрей Андреич”.

Однако большая часть современных писателю критиков как бы не замечала глубоких сомнений автора относительно праведности избранного героиней пути и спешила присоединить рассказ к сонму тех произведений, авторы которых действительно были исполнены нетерпеливым ожиданием революции и убеждены, что все “силы должны быть направлены на то, чтобы перевернуть жизнь общественную, а не только личную” [7].

Не лишним будет отметить, что противодействие внутренним интенциям художественного мира таких писателей, как Чехов и Мамин-Сибиряк, исходило со стороны не только экстремально заряженной литературной среды, но и исторического опыта самой литературы, почему-то издавна с большей благосклонностью относившейся к герою типа “лишнего человека” или проявлявшему свою “особенность” в противостоянии общественному правопорядку, чем к герою типа Констанжогло или Штольца, способных проявить себя на поприще предпринимательства и созидательного труда во благо национальных интересов.

Именно такого героя не без вызова нетерпеливому времени изображает Мамин-Сибиряк в романе “Без названия”. Окоемов — по своему тоже “особенный человек”, как воспринимают и определяют знающие его люди: “Это совсем особенный человек”. Аллюзия на известный литературный тип ощутима в романе, хотя и представлена в декодирующем варианте. С той же силой напористости, стоицизма, бесстрашия, с какими служат делу разрушения господствующего строя революционеры, он отдается воплощению своих созидательных конструктивных идей энергично-наступательного (но без экстремистских рывков и потрясений) развития общества.

Автор с вызывающей настойчивостью выделяет в характере своего героя черты, противостоящие “особенному человеку” революционного склада: хозяйственный ум, деловую инициативность, практическое чувство реальных потребностей жизни, способность видеть причины жизненного неустройства не в мифических “обстоятельствах” и неблагоприятных “условиях”, а в самом человеке, в том числе “роковой русской черте неуменья пользоваться окружающими богатствами. Кажется, все дано людям, чтобы жили и благоденствовали, а они упорно не желают”. С удовлетворением отметив, как привольно может сложиться жизнь человека в Сибири — “крепко и хозяйственно жил сибирский поп”, он тут же с негодованием восклицает: “Сколько требуется везде рабочих рук, труда, а мы только смотрим, как ленивые рабы”. Окоемов не устает программно формулировать свои взгляды на современную действительность, природу человека вообще и национальный характер русского человека в особенности: “У нас, — отмечает он, — все боятся маленького дела и предпочитают умирать с голода в ожидании какого-то мифического большого дела, а оно само собой не приходит, как и все большое”. Люди сами приводят себя к статусу “лишних” и “ненужных”. Писатель не боится принизить своего героя теми чертами характера, которые выглядят несовместимыми со служением “Большому делу”: благонамеренность и “аккуратность в делах он ставил одной из величайших добродетелей”.

При всей концентрированности идеальных черт в характере, образе жизни и поведении Окоемова писатель избегает умозрительности благодаря способности не терять опоры на архетипы национальной и отечественной культуры, что постоянно сквозит в романном повествовании вольными или нечаянными аллюзиями, интертекстуальными отсылками к источникам как библейского, так и литературного, фольклорного, исторического происхождения. Подобно чеховскому плотнику, осознающему праведность своей профессии в силу ее бытийной изначальности (“и святой Иосиф был плотником”), Мамин-Сибиряк неопровержимую истинность жизнестроительной программы Окоемова тоже видит в нерасторжимости ее связи с универсальными законами бытия, изначальными формами человеческого существования. При этом автору нет нужды как-то особо акцентировать православную духовность героя: она кроется в самой сути его человеческой натуры: он добр, честен, склонен к всепониманию и прощению, уважителен к человеку любой сословности и вероисповедания, исполнен веры в высший промысел. “Тебе известно, — говорит он матери, — что я человек религиозный”. Лишь в конце романа читатель получает непосредственное подтверждение его глубокой приверженности христианской истине. Перед смертью он часто посылает за маленькой Таней почитать ему Библию и умирает при чтении ею “той страницы, где рассказывалась история Самсона”, верой своей победившего филистимлян. Самсон был одним из самых любимых библейских героев, постоянно приводившим на память множество своих подвигов — от растерзания льва до низвержения филистимлянских идолов Дагона и Астарты — и даже смертью своей послужившим укреплению веры.

Романный финал насыщен множеством знаковых деталей: и то оказывается важно, что Окоемов умирает при чтении “величайшей книги”, исполненной святыми любовью, страданием и надеждой, и то, что аллюзивно его дело восходит к подвижнику истинной веры Самсону, и то, что буквально на самом исходе повествования появляется ребенок — девочка, сама взявшая его ослабевшую руку, что читается как знак преемственной связи с созидательными устремлениями героя.

Когда в конце 1894 года дилогия вышла в свет, “Черты из жизни Пепко” были отмечены А. Скабичевским как лучшее произведение года, а роман “Без названия” оказался включенным в тот мощный литературный поток конца XIX века, где активно обсуждалась проблема выбора путей общественного развития. После революции творчество Мамина-Сибиряка надолго подверглось опале по ложному обвинению в народнических пристрастиях, и хотя из круга читательских симпатий оно по существу не выпадало никогда, в литературоведческое русло оно стало постепенно возвращаться лишь в 50-е годы, и роману “Без названия” не повезло уже в контексте общей недооценки 90-900-х годов как якобы периода творческого спада писателя. Тогда роман получил определение “утопии” и жанровая оценка превратилась в меру его художественной значимости. В 80-е годы понятие жанровой природы романа как утопии было дополнено рядом уточняющих определений (“социально-утопический роман, роман-трактат, роман-притча”), рассчитанных на понимание того, что “как социальная утопия роман имел и сильную сторону, обусловленную исторически прогрессивным прогнозом, и слабую, ибо способствовал сохранению иллюзий возможности решения социальных вопросов без классовой борьбы” [8]. В любом случае человеческий идеал оказывается прочно привязан к торжеству определенной социальной системы — победе прогрессивных сторон капитализма или социализма на основе классовой борьбы.

Надо отметить, что футуристически-утопический контекст прописан в романе основательно: это не только фаустиана, но и довольно ощутимые переклички с реально бытующими в России проектами ее социально-экономического преобразования путем создания акционерных обществ и тому подобных предприятий, внешне похожих на окоемовскую кампанию. Сознательный момент идеализации американской действительности, “текущей млеком и медом”, где население отличается примерной мобильностью и инициативностью и где поэтому нет “лишних” и “ненужных” людей, тоже привносит в романный нарратив несомненные черты утопического дискурса. Наконец, даже отношение к герою, как “особенному человеку” в определенном рецептивном фокусе может быть рассмотрено через призму футуристически-утопических взглядов Чернышевского, в свете которых швейные мастерские Веры Павловны служат прообразом рационально-справедливой организации труда в будущем.

Не следует думать, что автор питает иллюзии относительно скорой достижимости целей Окоемова, убежденного, что и “Сибирь еще вся в будущем”, тем более думать, что человеческий идеал связан в его романе с какой-либо определенной рационалистически обоснованной социальной системой, исходя из понимания “сильных” или “слабых” ее сторон. Окоемов важен писателю, так сказать, сам по себе, вне какой-то доктрины или учения, как личность, подающая пример человеческой подлинности и самодостаточности, как образец истинного, правильного, “настоящего” отношения к миру — бескорыстного служения общему благу, нравственной чистоты и целомудрия, беззаветной любви к ближнему, отвращения ко всему, что мешает торжеству “высшего” в человеке над “низшим”, в результате чего и мир в целом способен изменяться к лучшему. Последние страницы романа — это и есть картины такой улучшившейся, облагороженной и просветленной благодаря общению с Окоемовым жизни окружающих его людей, горюющих по его кончине, но готовых жить по его заветам: “Зачем все вы думаете о моей смерти? Я не умру, я буду жить с вами в тех стремлениях и целях, которые соединяют людей в одно целое…”

Подобно лучшим представителям русской классической школы Мамин-Сибиряк, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, сказанными о Достоевском, с созданием этого романа “без названия” вступал в “область предвидения и предчувствия, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленных исканий человечества. Укажем хотя на попытку, — продолжает критик, — изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа “Идиот”” [9]. Неудивительно, что подобное определение целей человеческого развития полностью совпадает и с ответом Л. Толстого на неизбывный вопрос человечества. В трактате “Так что же нам делать?” он пишет: “…только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает — оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества” [10].

Даже в малой степени не касаясь в данном случае проблемы различия художественного своеобразия творчества Мамина-Сибиряка, с одной стороны, и Достоевского или Толстого, с другой, не видеть тождественности их творческих целей создания “положительного человека” невозможно. Окоемов тот рыцарь без страха и упрека, который верит в непреложность нравственного закона и на долгом пути к его торжеству готов терпеть невзгоды, потери, неудачи: “Много званых, но не много избранных”, — с грустью признается он, но в равном фаустовскому стремлении к “вершинам бытия” веры в человека не теряет: “Впрочем… найдется достаточное количество взыскующих града”. Современный исследователь творчества Мамина-Сибиряка справедливо акцентирует внимание на такой особенности его повествовательной манеры как скрытая ирония к многообразию социальных мифов, находящихся в повседневном обиходе [11], по отношению же к миссии Окоемова писатель не только исключает ироническую интонацию, а и четко противопоставляет ей конвенциональную повествовательность. Она поддержана и выбором фамилии героя. По определению Даля с пометкой “устар.”, “окоем” значит “пространство, которое можно окинуть взглядом”, горизонт, который рождает “чувство шири и дали”, что соответствует авторской установке не на “скорый подвиг”, как выразился старец Зосима у Достоевского, не на сиюминутно-незамедлительные результаты служения избранной идее, а на торжество ее в исторической перспективе.

Специально следует отметить ясность и незамутненность художественной стратегии Мамина-Сибиряка, ее изначальную векторность. Оставленному “без названия” роману оказывается противопоставлен за несколько лет до этого созданный писателем роман с подчеркнуто выразительным названием “Именинник” (1888), герой которого Сажин, не выдержав тягот повседневного рутинно-чернового труда на поприще земской деятельности, кончает жизнь самоубийством: реальная действительность не ответила на его жажду скорых побед и немедленных результатов, развеяла иллюзии относительно того, что служение общему делу тотчас же отзовется равновесным признанием заслуг, дающем ощущение непроходящих именин.

Решение тактических политических или экономических, социальных или культурных проблем невозможно без освобождения из плена “темной основы нашей природы”, рационалистических схем и утопических проектов, идеологических мифов и лукавой пропаганды. Только востребованность “наилучшего” стала бы залогом подлинного сопротивления “демоническому началу” истории, преодоления всяческих кризисов. Ведь, например, присутствие во всех сферах деятельности (при одинаковых профессиональных и деловых качествах), условно говоря, Гриневых, а не Швабриных уже неузнаваемо выправило бы скособоченную картину нашей жизни” [12].

Исходя из имманентности утопического дискурса самой природе художественного творчества и в частности небывало высокой его концентрации в русской литературе на перевале веков, нельзя не видеть заметного нарастания утопического начала и в творчестве позднего Чехова, как и того, что, подобно Мамину-Сибиряку, Чехов не отрывал будущее ни от неустанной работы на него в настоящем, ни от понимания константно-субстанциональной природы человека.

В эстетическом формулировании антропологического кредо Чехова совершенно особое место принадлежит рассказу “Студент” (1894), где авторская концепция человека возведена на философскую высоту, передана языком архетипа и мифопоэтики, посредством обращения к известному библейскому сюжету о той не уходящей из памяти человечества ночи в Гефсиманском саду, когда Иуда предал Христа, а апостол Петр отрекся от него в горькой надежде сохранить пожизненную верность Учителю. В четкости выявления основополагающих мыслей о мире, в глубине и ясности феноменологического контекста этого рассказа способны по-новому открыться многие стороны творческой позиции Чехова, особенно последних лет. Студент духовной академии Иван Великопольский глухой и нелюдной ночью возвращаясь домой, “думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность… такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше”, а о том, что не станет она и хуже, он думает уже в конце рассказа, приближаясь к дому. Финал рассказа стратегически связан с его началом, он воссоздает в нем то нарративное равновесие, которое равнозначно сути человеческой жизни на земле, дает ощущение ее стабильности при всех временных сдвигах и колебаниях.

Перелом в настроении Ивана Великопольского наступает благодаря дорожной встрече у ночного костра с двумя припозднившимися огородницами: вдовыми матерью и дочерью: “Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!”. Его рассказ о боли, страданиях и слезах апостола Петра в ту всечеловечески горестную ночь композиционно предстает как вводный жанр, как вставная новелла, рассказ в рассказе и в силу взволнованно-лирической интонации обретает особую глубину воздействия на читателя, и его воздействующая сила сопряжена еще и с тем, как воспринимают рассказ Ивана Великопольского его слушательницы — вдовые мать и дочь: “… и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: “И исшед вон, плакася горько”. Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…”

Закончив рассказ о Петре, студент увидел, как “Василиса вдруг всхлипнула, слезы крупные, изобильные потекли у нее по щекам”, а выражение у Лукерьи “стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль”. Действие рассказа происходит в двух разных временных пластах, но сливается воедино благодаря близости чувств, переживаемых Петром девятнадцать веков назад и слушательницами Ивана Великопольского. И если в начале рассказа мысль студента сосредоточена на темных сторонах бытия, где “ужасы были, есть и будут”, то в финале она уже устремлена к тому, что способно придать ему равновесие, и герой уже “думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле… и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла”.

Семантико-поэтический строй этого небольшого рассказа эхом отзовется во многих последующих произведениях Чехова — мыслью и о неразрывной цепи времен, и неиссякаемой силе нравственного закона, и о неизменности человеческой натуры, и свойственном человеку даре бытия, дающем силу преодолевать общественное зло и несправедливость, что скажется и на общем характере представлений о будущем, и на определении путей к нему. “Неведомо-таинственное” бытие не лишает человека веры в будущее, даже права на “невыразимо сладкое ожидание счастья”, однако, осуществление его не гарантирует, что реально подтверждает особый характер повествовательной модальности в финале рассказа. Кстати, инвариант такого финала позднее будет представлен в рассказе “Невеста”.

Большинству героев Чехова, особенно позднего периода, тотально охваченного нетерпеливой жаждой крутых перемен, свойственен особый дар бытия, удивительное умение испытывать всю полноту чувств, даваемых обычным повседневным течением жизни, когда ценят теплоту семейного круга, уверенность в спокойной старости, возможность найти приют и сочувствие разоренному человеку, когда не исключены спонтанные вспышки счастья даже от неразделенной любви. И в том, что говорит в финале пьесы “Дядя Ваня” Соня Войницкому, пережив потрясение от громкого семейного конфликта — казалось, с непримиримой “разборкой” отношений и даже стрельбой, — нет ни пессимизма, ни квиетизма, ни самопожертвования, а есть трезвое осознание именно “полной высокого смысла” жизни, где радость и счастье, не отрывные от терпения и труда, воспринимаются как философия существования, как креативная логика человеческого бытия: “Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы… увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно… …Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир…”

В пьесе “Дядя Ваня” доктор Астров рассчитывает на перемены “через сто-двести лет”, а у героев “Трех сестер” различия в дистанциях ожидания будущего огромны. “Пришло время, — рассуждает Тузенбах, — надвигается на всех громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близко и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25–30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый!” И хотя герой говорит о “буре”, исходя из общего контекста пьесы это все-таки не реминисценция горьковского мотива бури, а надежда на перелом в человеческом сознании, ибо речь идет не о переделе собственности, не о борьбе бедных с богатыми, а о торжестве морально-этических начал — трудолюбия, терпения, неравнодушия к людям. А уверенность героя в том, что работать должен “каждый!” заставляет вспомнить утопические умозаключения Мисаила Полознева и художника из “Дома с мезонином”.

Мотивный характер чеховской темпоральности безусловен и закономерно вызывает на память рассказ “Студент”, но противоречий между утверждением мысли о надличностном характере времени и личной ответственностью человека перед ним нет: надличностное будущее человечества возникает из конкретных поступков человека в текущем времени, порождая закон нравственного императива. Именно в контексте темпоральных размышлений героев вырывается у Вершинина возглас: “…ужасно хочется философствовать!”

По существу чеховские герои выходят из опыта своего провинциального существования духовно преображенными, приобщенными к охоте “философствовать”, т.е. способными подняться над плоско-прямолинейным, пространным восприятием действительности на высоту осмысления ее бытийной сути. Именно в фокусе такого мощного хронотопа, как “девятнадцать веков”, “тысяча” или “миллион лет” выявляется экзистенциальная природа чеховского героя, способного или бессильного своим волением воспринять таинство жизни, ощутить ее как высший дар бытия. Именно в таком объемном хронотопе находит опору чеховский оптимизм.

В этом аспекте как нечто глубоко выношенное и выстраданное самим автором воспринимается размышление безымянного старика из повести “В овраге”, много странствовавшего по Руси, в том числе, как и Чехов, хорошо знавшего Сибирь: “Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае…” Слова утешения, которые услышала от него женщина, возвращающаяся из больницы с мертвым младенцем на руках, исполнены той мудрой веры в торжество жизни, ее таинство и высшую целесообразность, которая может быть дана волением жить, приобретенным трудным Путем.

“— Ничего… — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! …Я по всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное… Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил: значит хорошего было больше. А велика матушка Россия!”

Нельзя не обратить внимания на отмеченность данного текста откровенно знаковыми чертами: это и “ничего” как синоним призыва к терпению, это и подчеркнутое сопряжение-сцепление утверждений: “Жизнь долгая” и “Велика матушка Россия”, к тому же дважды повторенное и усиленное восклицательным знаком, что в целом несет явный отсвет настроений, вынесенных писателем из сибирского путешествия. В этом убеждает одно из заключающих его сибирскую эпопею писем Суворину, в котором трудно не заметить признаков явной программности, прочно опирающейся на феноменологически-экзистенциальный фундамент его мыслей о мире и человеке, несомненно, укрепленный сибирскими впечатлениями: “Хорош белый свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм… Работать надо (подчеркнуто мною. — Л. Я.), а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится” (9 декабря 1890).

Видимым результатом поездки явился цикл сибирских произведений, но невидимо она отозвалась на формировании его реального имиджа, главное же — сказалась на качестве всей художественной мысли писателя, что дало ему основание поставить последнюю точку в полемике с Сувориным: “Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!” (17 декабря 1890).

Кстати, именно здесь, в контексте прояснения чеховской антропологии уместным будет сказать несколько слов об А.С. Суворине, переписка с которым оставила заметный след в биографии Чехова и до сих пор предстает как одна из самых спорных и явно нуждающихся в переоценке ее страниц. Известно, сколько обвинений в реакционности, как гонитель передовых идей и даже как эксплуататор творческих дарований, стяжал этот литератор, журналист и издатель, но Чехов любил его, чего до сих пор не хочет признать наше чеховедение. Объяснение их многолетней дружбы и сотрудничества кроется в совпадении взглядов на многие стороны истории и современности России, представлений о ее путях к будущему. Реалии жизненного поведения Суворина в представлении Чехова соответствовали такому типу человека, каким был Пржевальский, которому посвящен юбилейный очерк писателя, или Дымов из его рассказа “Попрыгунья”. Деловой, инициативный, обладающий практической сметкой крепкий хозяин, сумевший поставить издательское дело на прочный экономический фундамент, превратить свою газету и издательство в прибыльное для семьи и глубоко полезное для нации дело, он, действительно, не поощрял революционных иллюзий и делал ставку на духовное и экономическое развитие страны, рост народной инициативы, терпеливое преодоление ежедневных трудностей и честное исполнение своей работы каждым — это не могло не импонировать Чехову, почему и из сибирского далека видел он в Суворине одного из главных и интересных ему собеседников.

Сибирь с неохватностью ее просторов и неизведанностью природного мира если не пробудила в Чехове, то предельно обострила в нем способность видеть человека наедине с Бытием и сквозь опосредующую силу его воздействия воспринимать социальные обстоятельства, условия, среду. В послесибирский период в творчестве писателя все увеличивается тот ряд произведений, где акцентируется внимание на герое, способном ощущать искони свойственный человеку дар бытия, неизбывной полноты существования в Мире, когда в борении со страхом, тоской, скукой, одиночеством побеждает радость и счастье простой возможности жить, просто жить, постигая тайну своего пребывания в мире.

Через состояние метафизического бунта, экзистенциальной смятенности проходят многие герои Чехова постсибирского периода. Повесть “Три года” (1895) в этом смысле предстает как одно из самых погруженных в глубину бытийственной мысли произведений Чехова, не отменяющих при этом его пристального внимания к характеру общественного строя человеческой жизни. В глазах прежних исследователей эта острая социальная фактурность повести заслоняла ее экзистенциальную векторность. Весь тот круг роковых вопросов, которые со значением нарративных мотивов проходят через большинство произведений “просахалиненного” периода — социальная и ментальная природа равенства-неравенства, отношения хозяев и работников, владельцев миллионных состояний и зависимых от них людей, поиски “правды и счастья” как отдельным человеком, так и народом, главный герой повести переживает не в отвлеченно-философском плане, а как фактор собственной биографии, личной жизни, своего ежедневного существования. В этом отношении он, как персонаж, отличается, например, от художника из рассказа “Дом с мезонином” или даже от Мисаила Полознева, который побывал в положении унижаемого и оскорбляемого работника, но не испытал участи раба, прикованного к миллионному состоянию. И проведя своего героя через многие жизненные испытания — смерть сестры, оставившей на его попечение двух девочек, страдания неразделенной любви, отчуждение ближайших родственников, отца и брата, неприязнь к “делу”, к которому “не лежит душа”, сомнение относительно своего права на не им нажитые “миллионы” — в финале повести писатель тем не менее не оставляет у Лаптева чувства напрасно и “не так” прожитой жизни, ощущения, что “все было не то”, как это случилось с героем Л. Толстого в повести “Смерть Ивана Ильича”. Как ни изъязвлена внутренними противоречиями жизнь в доме Лаптевых, она течет по неизбывным законам вечности, приводя героя к мудрому приятию ее: на смену “плохому” приходит “хорошее”, меняются лишь лики их. Теперь бремя (или все-таки “счастье”?) безответной любви суждено испытать его жене — Юлии Павловне, ответственность за миллионное дело от отца и брата перейдет к нему, а воплощением поступательного будущего предстанут две девочки: “Как они выросли! — думал он. — И сколько перемен за эти три года… Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет… Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем — увидим”.

И вынесенная в самый конец повествовательного текста эта фраза “Поживем — увидим” в такой привычной для чеховских финалов модальности (“быть может…”) придает повести “Три года” четкую экзистенциальную завершенность.

Откликаясь на такого рода произведения, как “По делам службы”, “На подводе”, “В родном углу”, “В овраге” и т.д., закосневшая в штампованных трюизмах критическая мысль по-прежнему видела в чеховском герое лишь жертву социальных обстоятельств, а в писателе неотступного обличителя торжествующей пошлости жизни, не в силах ощутить и осознать то, что художественная мысль писателя давно уже движется по орбите других представлений о природе человека. И если в героине рассказа “В родном углу” (1897) Вере Кардиной критике привиделся всего лишь “еще один с художественной правдой нарисованный портрет в обширной галерее русских женщин… с их неудовлетворенностью, тоской, разбитыми надеждами” [13], то нарративная логика рассказа с четко акцентированным финалом противится подобному суждению: разрушительной силе внешних обстоятельств противостоит способность героини подняться на высоту бытийственного мировосприятия, попросту слиться с бытием, раствориться в доверии к жизни как таковой: и “это постоянное недовольство и собой, и людьми… она будет считать своею настоящей жизнью, которая суждена ей, и не будет ждать лучшей… Ведь лучшей и не бывает!.. Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо…” И, пережив, по А. Камю, “свой бунт”, преодолев душевный кризис, привыкание к новой среде обитания, “выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга”, что делают, например, Соня Серебрякова или сестры Прозоровы, чему посвящают свою жизнь, став сельскими учительницами, героини романов Мамина-Сибиряка “Весенняя гроза”, “Ранние всходы” и его позднего рассказа “Отрадное явление”.

Писатель не окрыляет героиню напрасными обещаниями легкого счастья, но и не лишает надежд на “хорошую” жизнь: свойственным его поздним произведениям характер повествовательной модальности (“очевидно, счастье и правда существуют…”) позволяет и читателю воспринимать жизнь как вечно длящуюся тайну не только какого-то “другого” мира, но и непосредственно окружающей “действительной жизни”. Чехов предельно верен себе: с непоколебимым упорством противостоит он призывам внести в свои произведения дежурную “ноту бодрости и здоровья” в связи именно с ожиданием скорых и искусственно вызываемых перемен, да и не считает он жизнь своих героев неизбывно несчастной. Мотив превратности человеческой судьбы, один из частых и излюбленных в литературе, в творчестве и Мамина-Сибиряка, и Чехова предстает скорее даже не столько как закономерное выражение остроты социально-классовых противоречий, сколько как неотъемлемый фактор непредсказуемого течения жизни, воплощаемой как бытие, проявляясь вне зависимости от общественного веса, должностного или сословного статуса человека. Вот и хватившую лиха в доме Цыбукиных Липу — как бы в подтверждение житейской философии плотника Костыля — коснулось целительное воздействие надличностных сил бытия. Формулирующий эффект мысли о несводимости “правды и счастья” к социальному фактору и в повести “В овраге” прибережен к финалу: “Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом… Они пели. Впереди всех шла Лина и пела тонким голосом, и заливаясь, глядя вверх на небо (подчеркнуто мною. — Л. Я.), точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть”. А по дороге встретился выброшенный из дома старый Цыбукин: “Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть”.

И Мамин-Сибиряк, и Чехов избегали социальной регламентации будущего: утопический элемент пребывает в повествовательной фактуре их произведений в некоем диффузном состоянии, представая как черта душевного настроя героев и выявляясь в образе неугасимой веры в жизнь как таковую, и прежде всего улучшение природы человека на основе смены поколений. Это объясняет своеобразие персонажного состава произведений Мамина-Сибиряка и Чехова 90-х годов, в частности ту семантическую нагрузку, которой отмечен в них образ ребенка. “Хотите верьте, хотите нет, — говорит Ярцев в повести “Три года”, — но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети!” И те две девочки, Саша и Лида, которые остались в доме Лаптева после смерти сестры, вносят в мироощущение героя тот элемент согласия с жизнью, что выявляет неизбывное начало земного существования человека.

В связи с романом “Без названия” уже говорилось о значимости мотива ребенка, принимающего эстафету духовного верования “отца”, но в этом романе он обретает потенцированное звучание благодаря возникающему в финале внесюжетному образу новорожденного сына Окоемова, тоже Василия: “Я очень много работал и очень много любил и… не умру, — утешает близких ему людей умирающий Окоемов. — Любовь не умирает… Будет только перемена имен: вместо Василия Тимофеевича Окоемова будет работать и любить Василий Васильевич Окоемов. Он сейчас еще мал и ничего не понимает, а вырастет большой и все поймет”. Несмотря на сюжетно-фабульную акцентированность бурных смен общественно-экономических формаций во многих произведениях Мамина-Сибиряка, его убеждение в том, что “ведь люди останутся все те же”, сохраняет неизменность.

Имманентное рассмотрение творческих позиций двух выдающихся писателей России, с невосполнимой широтой и глубиной воссоздавших картину ее жизни на предыдущем перевале веков — от 19-го к 20-му, убеждает в том, что, безусловно, важный сам по себе и бесспорный факт их множественного пересечения в темах, мотивах, образах, сюжетно-фабульных схождений и разного рода семантико-поэтических перекличек способен обнаружить свою подлинную значимость лишь в сфере авторской антропологии и онтологии, открывая их сходство, родственность и близость в осмыслении универсальных начал существования в понимании человека как такового, его натуры, природы, естества. При этом даже в малой степени следует избегать опасности нивелировать их творческие подходы к изображению человека, видя, что у Чехова он более всего представлен как личность, т.е. в его духовно-мыслящем проявлении, а у Мамина-Сибиряка — как характер, т.е. в его психо-идеологизированной сути. Речь при этом идет лишь о преимущественных формах представления человека, потому что при определяющем у того и другого писателя перевесе внимания к человеку перед фактором среды, обстоятельств, социальных отношений характер и личность в одинаковой степени составляли главное направление их художественной мысли, определяя общий характер их реализма не как критического, социологического, а как антропологического, феноменологического, а в глубинном своем проявлении — экзистенциального.

Психоэтические категории терпения, страдания, любви, труда, творчества противостоят настойчиво продвигаемым в те годы лозунгам социальной борьбы, призывам к классово-сословному противостоянию, апофеозом которых должен стать переворот. В фокусе длинного времени, испытанного многими поворотами земной жизни все с большей наглядностью выявляется истинность их художественной мысли, обращенной к пониманию человека как неразгаданного начала Бытия, когда все еще сохраняет свое значение житейская формула: “Поживем — увидим”.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в тридцати томах. Письма. Т.4. — М., 1977, с. 29.

2. Мамин-Сибиряк Д.Н. Без названия // Мамин-Сибиряк. Собр. соч. в шести томах. Т. 5. — М., 1981, с. 312.

3. Мамин-Сибиряк Д.Н. Без названия. С. 325.

4. Горький М. Из письма П. Пятницкому между 7 и 12 января 1902 г.

5. Приезжавший в феврале 1902 года в Москву Суворин фиксирует в “Дневнике” от 6 февраля: “Ждут в Москве “революции””. // Летопись литературных событий в кн. Русская литература конца ХIX — начала ХХ в: 1901—1907. — М., 1971, с. 355.

6. Чехов А.П. В овраге. Т.10, с. 163.

7. “Правда” 1904, № 5. Цитируется по: Чехов А.П. Т. 10. Примечания, с. 473.

8. Дергачев И.А. Д.Н. Мамин-Сибиряк в литературном процессе 1870—1890 гг. — Новосибирск, 2008, с. 254

9. Салтыков Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. в двадцати томах. Т. 8. — М., 1965—1977, с. 438.

10. Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Толстой Л.Н. Не могу молчать. — М., 1985, с. 140.

11. Шайхинурова Л.М. “Приваловские миллионы” и “Уральские рассказы” Д.Н. Мамина-Сибиряка. Комический и иронический аспекты. Автореферат канд. дисс. — Екатеринбург, 2002.

12. Тарасов Борис. Гринев и Швабрин. // Литературная газета от 7—13 окт. 2009, № 41.

13. Чехов А.П. В родном углу. Т. 9. Примечания, с. 531.